

**МАСТЕР**

**СЕРИЯ**



**МИХАИЛ КОНОНОВ**  
**ГОЛАЯ**  
**ПИОНЕРКА**



ЛИМБУС ПРЕСС. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Роман номинирован на премию НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР и на премию АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА

**МАСТЕР**  
СЕРИЯ



Многолюбивой Геннадии Максимовне!  
Милую Вам, Вашему Таланту,  
Семье, Мирю — Здоровья, Счастья!  
М. Кононов

Михаил Кононов

# ГОЛАЯ ПИОНЕРКА

РОМАН



ЛИМБУС ПРЕСС  
Санкт-Петербург  
2 0 0 1

Мюнхен, 2005

**Михаил Кононов**

Голая пионерка: Роман. — СПб.: Лимбус Пресс, 2001. — 256 с.

Батально-эротическая феерия, о восьми главах огнедышащих, с бодрой войной и гордой блокадой, с чистой любовью и грязным сексом, с громом психопропедевтических выстрелов генерала Зукова в упор и навскидку, а также зафиксированным явлением Пресвятой Богородицы и стратегически-ночными полетами АБСОЛЮТНО ГОЛОЙ ПИОНЕРКИ!

ISBN 5-8370-0135-2

© М. Кононов/Лимбус Пресс, 2001

© А. Веселов, оформление/ Лимбус Пресс, 2001

© Оригинал-макет/ Лимбус Пресс, 2001

## РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НА RENDEZ-VOUS СО СМЕРТЬЮ

Предлагаемый вашему вниманию роман петербургского писателя шел к читающей публике долго: непозволительно долго и чуть было не губительно долго. Его читали в редакциях толстых журналов — и отвергали с порога или предлагали убийственные сокращения и переделки. Десять лет назад его едва не напечатали в “Советском писателе” — но в последний момент взбунтовались “простые люди” — корректоры и наборщики. О нем, остающемся в рукописи, писали и публиковали статьи, о нем ходили слухи, а публикация откладывалась на будущее, становящееся меж тем все менее и менее определенным. Неопубликованный роман мешал и самому писателю, как мешает любое незавершенное дело, а “Голую пионерку” Михаил Кононов полагал, и справедливо, своим шедевром. А может быть, и шедевром, не нуждающимся в уничижительном определении “свой”. Рукописи, разумеется, не горят, но они стареют — и роман старился, роман во многих отношениях устаревал. Устаревал тем существенней, чем стремительней летело перестроенное и постперестроенное время, чем радикальней становились перемены, чем фундаментальней менялась — и не один раз — парадигма ценностей. Несколько лет назад я сказал Кононову: моя бы воля, я бы этот роман напечатал. Что ж, тем отрадней, но и ответственней, выполнить как бы вскользь сделанное обещание.

Нет худа без добра, утверждают оптимисты. Применительно к данному роману это означает следующее: выдержанный, как хорошее вино,

или притомленный, как суточные щи, он в значительной мере растерял изначально присущий ему “разоблачительный” пафос, утратил родовое сходство с прозой Владимира Войновича (не в последнюю очередь и потому, что раннего Войновича мы подзабыли, а поздний разочаровывает) и вместе с тем разверз свои экзистенциальные бездны. Мужчина и женщина, любовь и смерть, роковое сходство “гибели всерьез” и блаженного соития, — Кононов написал об этом, как мало кто другой; в современной литературе во всяком случае. Конечно, откровенными постельными сценами, пусть и мастерски написанными, сегодня никого уже не шокируешь, однако Кононов и не ставит перед собой такой задачи или, как минимум, решает принципиально иную. “Русский человек на rendez-vous” — так назвал свою статью классик XIX века. “Россия в постели” (а затем и “Новая Россия в постели”) — озаглавил свое сочинение один из нынешних пошляков. Герои Кононова выходят на randevу с замызганной и измочаленной Мухой перед тем, как очутиться на randevу со Смертью, и это придает их переживаниям (и нашему сопереживанию) неповторимый оттенок. В любовном акте человек раскрывается не как любовник, но как человек; раскрывается как человек перед тем, как умереть; русская баба, как известно, не столько “дает”, сколько “жалеет”; Муха жалеет своих мимолетных любовников, порой омерзительных, жалеет в обоих смыслах слова, — этот опыт поставлен писателем с лабораторной чистотой и не лишен лабораторной жестокости: так экспериментируют над мышами. Но, разумеется, Кононов не только жесток, но и сентиментален; жестокая сентиментальность этой незаурядной прозы, затрагивающей основные архетипы, и превращает роман “Голая пионерка” в литературное событие первого ряда, которым он в связи с данной публикацией, пусть и изрядно запоздалой, наверняка станет.

А впрочем, судите сами.

*Виктор Топоров*

С кем побеседуешь о старине,  
если персик и слива не говорят?

( Кэнко-Хоси.

“Цурэдзурэгуса”, XIV век.)

## ГОЛАЯ ПИОНЕРКА, ИЛИ СЕКРЕТНЫЙ ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА ЗУКОВА

*Батально-эротическая феерия,  
о восьми главах огневых, шающих,  
с бодрой войной и гордой блокадой,  
с чистой любовью и грязным сексом,  
с громом психопропедевтических выстрелов  
генерала Зукова в упор и навскидку,  
а также зафиксированным явлением  
Пресвятой Богородицы  
и стратегическими ночными полетами  
АБСОЛЮТНО ГОЛОЙ ПИОНЕРКИ!*



*Посвящаю Радию Погодину,  
Валентине Чудаковой, Герману Лотову  
и всем, кто спасает нас*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

*В которой сам генерал Зуков, лапочка такая, представляет живую Муху к званию Героя Советского Союза — посмертно.*

Светло насвистывая неотвязную “Рио-Риту”, не вытирая липких слез, Муха брела на расстрел по знакомой немецкой утрамбованной дороге в деревню Шисяево, где ждал ее Смерш-с-Портретом.

На передовую-то их калачом не заманишь, эгоистов, каждый из себя фон-барона строит, буквально. Противопоставляет свои шкурные интересы коллективу — хуже всякого единоличника. А беззаветным окопникам из-за него, барина, семь верст до небес киселя хлебать. И на танцы-то в такую даль не поперлась бы, не то что на какую-то там шлёпку. Причем и не гарантировано еще, во-первых. Вот как ударит ему моча в голову, — а у них это очень даже вполне, — он вдруг и пожалеет на какую-то там Муху маслину тратить, просто отmaterит, как положено, да и благословит коленом под зад. Вот будет номер, а? Хоть вешайся на первой попавшейся древесине. Ведь тогда, получается, буквально кошке под хвост все переживания напрасные. Навряд ли, конечно. Хотя поди знай, с какой ноги он сегодня встал, чудак-человек. Если с левой, закати́т нота́цию на два часа, а потом подзатыльник отвесит — и ауфвидерзейн. Как после этого однополчанам в глаза смотреть? Провожали-то на самый что ни на есть расстрел, всей ротой за Муху мазу держали, как полагается, и семечек, вон, полный карман насыпали, и рафинаду насовали, и

печенья трофейного, и трусы запасные на всякий пожарный су-нул ей кто-то за пазуху, а Муха вдруг — здрасте-пожалуйста, явилась не запылилась, примите, мол, братцы, на старенького. Ведь ни разу же за два года несознательность подобную не проявляла, не подводила коллектив. Ежедневно стремишься, чтобы комар носа, всегда чтобы доверие оправдать, потому что известно, как нежелательные срывы очень все-таки влияют, несмотря что, вроде, и ни при чем как будто сама-то. И с этой точки зрения непонятно, где тут с ними, крысами тыловыми, соломки подстелить, на каждом шагу ножку подставить нороят сознательным бойцам. Причем никакой управы на данного распоясавшегося товарища не найдешь, тем более в условиях фронтовой полосы. Он тут царь и бог высшей марки — смерш\*. Чем и пользуются архибессовестно, гоняют людей туда-сюда, лишь бы самому верзуху свою деклассированную не поднимать, не выставляться под пули. Куда только, интересно, генерал Зуков смотрит? Вот выйдет ночью на связь — надо ему подсказать, чтобы проработал данный вопрос как полагается. А то уже как мышь вся мокрая, бляха-муха, от этой ихней бесполезной ходьбы, прямо зла не хватает!

Кстати, это еще и не самое страшное — под расстрел идти или даже нотацию самую нудную выслушать — это еще можно пережить вполне. А вот как начнет Смерш-с-Портретом ксиву ломать, — тогда дело дрек. Сразу липу заметит. Ну и попутает, конечно, раскручивать начнет, сама же опомниться не успеешь, как сдрейфишь и расколешься, росомаха. Дознается, сыч, что совсем ты еще пацанка, пятнадцати нет, тогда уж точно пиши — пропала. Без разговоров, как промокашку зеленую, с первой же попуткой отправят в тыл, — жуткое дело, на всю жизнь позору не оберешься, притом еще травма моральная. А ведь только-толь-

---

\* Смерш — СМЕРШ — аббревиатура: «Смерть шпионам» — подразделение контрразведки во время Великой Отечественной войны.

ко фактически человеком себя почувствовала на второй год фронтовой жизни, членом коллектива. И к людям привыкла, и они к тебе тянутся по-хорошему, верят, что не подведешь, окажешь сильную помощь, если нуждается офицер в тепле и женской ласке. Причем уже сами, в свою очередь, заботу стараются проявить, — парни мировые собрались, как на подбор. Вплоть до того что, бывает, одних только трусов запасных до двух дюжин в сидоре скопится. Уж, думаешь, и после победы еще носить не сносить. Хотя, практически если, это, конечно, наивность — так рассуждать. Иной раз при передислокации, когда пополнение вливается в ряды, до трех пар в неделю сменишь. Но это уже исключительно из-за резинок. В том все и дело: слишком уж непрочные резинки промышленность производит, — что у нас, что у немцев та же проблема. Никак не могут добиться, проработать вопрос как полагается. До сих пор не рассчитано еще, видимо, для фронтовых условий, не перешли на военные рельсы. Подсказал бы кто-нибудь там Сталину или хотя бы, уж ладно, Гитлеру. А то все маршала, небось, только о пушках думают, о самолетах, а если ты, например, девушка, то и вертись сама как хочешь с ними со всеми, хоть зубами концы разорванные зажди и ходи так, как чудачка какая-нибудь контуженная, честное слово!

С другой стороны, лучше уж, извините, вообще без трусов сто лет воевать, чем в тылу всю войну прокантоваться, как последний дезертир высшей марки, у бабки под юбкой. “Машунь, а Машунь! Ну-к скоренько молочка топленого с пенкой! Да брось коромысло, сама воды наношу, у тебя ж легкие слабые, неровен час обратно прицепится беркулез...” Зар-раза! Да чем пенкой давиться, да рыбий жир глотать, — пусть бы лучше хоть каждый день в расход пускали! Только, конечно, тогда уж чур — условие. Чтоб не на периферии где-то, тыловым крысам на смех, а тут же, не отходя от кассы, в славной пулеметной роте, в родном спаянном коллективе. Как представишь, что все за тебя переживать будут, вся рота поголовно и каждый боец в отдельности, —

конечно будут, ведь все же знают, что не виновата, даже и ни труп не обнаружено, никаких доказательств против Мухи, — ну и все, значит, будут слушать приговор, голову опустив, а Муха — перед строем одна, у всех на виду, как заслуженная артистка на сцене. И каждый постарается в глаза ей заглянуть, подмигнуть, — подбодрить товарища боевого в ответственную минуту. Как представишь такое — даже теперь слезы наворачиваются. Хотя еще и не решен вопрос с расстрелом. Да ведь за такое счастье — чтобы слиться в едином порыве со всем краснознаменным коллективом, на глазах у надежных проверенных друзей принять свои девять грамм и с честью погибнуть, — так за это ведь жизнь всю отдашь, не то что резинку от трусов!

Все сбылось, о чем мечтала! Во всем подфартило Мухе, буквально! Это же жуткое дело, если разобраться: за что счастье-то такое? До войны, если честно признаться, жизнь свою считала бесполезной. Ведь ни у Буденного в Первой конной служить не довелось, ни на Северный полюс не попала с папанинцами, — бессмысленное мещанское прозябание фактически. А теперь вот сама, получается, из “максима” строчишь: Анка-пулеметчица, ни дать ни взять, причем даже и усы у Осипа Лукича в точности как у Чапаева, только седые, правда. Рвалась на фронт за Алешку отомстить — пожалуйста! Мечтала солдатом настоящим стать, чтоб для всех новобранцев примером — и это сбылось точь-в-точь. Последние месяцы и командир роты, и замполит, и покойный комсорг в один голос твердили на каждом собрании: “Мухиной можно любое задание поручить, и днем и ночью, все бы такие безотказные были!..” Вот бы Вальтер Иванович услышал — порадовался! А поначалу ведь маялась, не знала, чудачка, как доказать, что девушка-боец ничуть не хуже мужчины, что можно тебе и оружие доверить, и хлебать с тобой кулеш из одного котелка, и сто грамм можешь ты не моргнув глазом тяпнуть, — все как по маслу прошло, бляха-муха! А как свела судьба с Лукичом, так и по фене петрить наблатыкалась не хуже любого

жигана, а то ведь и слова сказать не умела по-простому, по-человечески, как положено. Одного только не добились паразиты и не добьются теперь, может, уже никогда — это чтоб материлась, как штрафник какой-нибудь дезертирский. На хрена язык-то свой поганить, товарищи дорогие?! Нет уж, мерсите вас с кисточкой! И неприлично, во-первых. Если сами привыкли, — пожалуйста, битте-дритте, хоть с головы до ног обматеритесь все сплошь, а девушку молодую не пачкайте: не положено. И где это вы видали, во-первых, чтобы воспитанная аккуратная советская пионерка, если она даже не успела еще в комсомол вступить, но это по независимым уже обстоятельствам, — и вдруг бы она ни с того ни с сего пошла матом крыть направо и налево? Абсурд же, бляха-муха! Вот сидите вы, например, в кино, смотрите себе культурненько “Волгу-Волгу” — и вдруг белокурая, стройная Любовь Орлова начинает у вас на глазах своего любимого Леонида Утесова матом поливать, как наша ненаглядная Светка-фельдшерица. Сами же в первую очередь и будете возмущены, будьте уверочки! А чего тут свистеть, чего сапогами топать, если вы тоже без мата шага ступить не можете? Нате вам, обожритесь, если невоспитанные такие. А от Мухи хер дождетесь, чтоб серость свою показала, как невоспитанная какая-нибудь бочка. Сколько крови с вами перепортила, пока за свою признали, по-настоящему стали уважать. Причем уважать не за мат, это следует подчеркнуть, а за настоящую ленинградскую воспитанность и культурность, которой у Светки, паскуды, не было и не будет, с такой-то, я извиняюсь, гитарой. А про Муху любого спроси — весь полк уже в курсе: надо письмо сочинить любимой девушке экскренно, чтоб вышло и грамотно, и культурно, как полагается, Муха всегда и продиктует сама, и ошибки проверит досконально. Надо же как-то и рядовому составу поддержку моральную оказывать, верно? Офицера́-то сами с Мухи возьмут, что им от девушки иметь полагается согласно ихнему офицерскому чину. Но и для рядовых, слава богу, не чужая, на всех хватает, самой

удивительно. А потому что верно про Муху однажды Лукич выразился: “Чисто золото в грудь заложено с детства!” И в этой связи ни один уже ее по фамилии не зовет, даже забыли как будто, а вот Муху знает и уважает весь полк. А если кто вдруг из пополнения вздумает ее на бандитский манер Муркой кликать да песенку хулиганскую напевать, старики такого ухара враз оборвут: не замай! И, между прочим, не только в полковых масштабах авторитет. Даже в дивизии любой подтвердит: Муха — мировая девчонка, своя в доску, не то что Светка-фельдшерница. Та за лишнюю пару чулков задавиться готова, оторва, уже неоднократно раз ее на комсомольском бюро прорабатывали за нездоровое зазнайство — как об стенку горох! Но вот что, между прочим, характерно: не за Светкой все-таки по воскресеньям, в свой банный день, присылает свою личную “эмку” комдив, а за Мухой. А почему, по какой-токой особой причине? У Светки-то вон и за пазухой молокозавод полный, медали лежат как на столе, буквально, и зад как самоходка, — так чем же Муха-то взяла, от горшка два вершка? А потому что, во-первых, нечего из себя фифу маринованную строить, менжеваться не следует, это первое. И при этом еще жаться не надо, противопоставлять себя коллективу. А во-вторых, конечно, нечего перед начальством хвостом бить, шестерить не надо, ходить на цирлах. Ближе надо быть к массам! Ведь как нас, будущих комсомольцев, партия учит? Ты в коллектив, наоборот, влейся, врати в него каждой своей жилочкой. С каждым его членом честной будь, открытой — как с родным братом, даже хуже. Тогда, может, и про тебя скажут: своя, мол, в доску, бляха-муха! Ну, а за эти слова, конечно, каждому нормальному советскому человеку не то что там умереть — да двадцать же раз на костре сгореть дотла — и то не жалко ни капельки!

Нашли, чудаки, чем стращать, — расстрелом. Как говорится, напугали бабу толстым елдаком! Да что такое этот самый расстрел, если спокойно-то разобраться, товарищи? Пух — и ваших

нет. Разговоров-то больше, чем хлопот, честное пионерское! Ведь расстреливают когда, ты ни боли почувствовать не успеешь, ни крикнуть — сколько раз наблюдала. Если, конечно, стрелять как следует, чтобы все пули легли в цель, кучно. И в этой связи для приведения в исполнение назначить бы следовало Саньку Горяева и Селиванова с Фроловым. Ну, и, конечно, Жохова Костю. Он сибиряк высшей марки, таежник, к тому же ворошиловский стрелок, белку в глаз бьет за три километра, если на спор, сам же и проболтался как-то по пьяному делу. Да разве же смерш послушает мнение рядового состава, разве советоваться станет, бляха-муха!

И потом, кстати, если вопрос поставить ребром, это ведь, вообще-то говоря, на эгоизм смахивает — под расстрел добровольно вставать, когда не сегодня-завтра предстоит все же завершить стратегическую операцию, задание секретное выполнить. Причем никто ведь другой справиться не в состоянии, только лично Мухе, единственной, может быть, на всю Красную Армию по плечу подобный подвиг. Ликвидировать главного немецко-фашистского дракона — это ведь вам, товарищи, не раку ногу оторвать, бляха-муха! Даже и стыдно при этом думать, расстрел планировать, в то время как задание невыполнено. Вот если бы генерал Зуков на Муху надежды свои не возлагал, не оказал бы доверие секретное — не было бы тогда и ответственности перед ним, да и перед всей страной, если уж честно-то говорить. Чего уж там, не промокашка какая-нибудь безмозглая, догадалась давно: и в штабе фронта, и в самом Кремле насчет Мухино-го задания уже в курсе дела и действия невидимого летучего агента под кодовым псевдонимом “Чайка” одобряют бесповоротно. Но пока что приказ не выполнен. Совершенно секретный приказ, что характерно, заметьте. Какой там, на хрен, расстрел, когда чуть ли не каждую свободную ночь приходится девушке вылетать в засекреченный рейд. Причем абсолютно без всякого самолета и совершенно безоружной практически. А ведь ни на



какие курсы учиться не посылали, даже и памятки ни одной не прочла ни по тактике такого дела, ни по стратегии, ни по матчасте. Случись что в небе — так и схватиться не за что, жуткое дело! Ни мотора тебе, ни крыльев, как у нормальных летчиков, ни вальтера любимого в заднем кармане, даже, извините, без штанов, как чудачка какая-нибудь. А вся связь с землей — только голос генерала Зукова: “Вперед, Чайка! За Сталина! Родина слышит — Родина знает!” Это — святое. Смысл всей жизни. За все оправдание — и за подделанные документы, и за малый рост, и за то, главное, что ты, все равно, как ни лезь из кожи вон, мужиком не станешь. А значит, ни о каких расстрелах не может быть и речи пока что, придется выкручиваться по обстановке. Наяву-то не во сне, тут генерал Зуков не направит, не выручит. А Вальтер Иванович и рад бы помочь, да где же его найти?

И снова, как ни крути, опять та же история получается, как с Павкой Корчагиным: умереть-то, конечно, гораздо легче и приятней, а вот ты попробуй выжить и победить — хоть кровь из глаз! Павка нас как учит? “Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой”. Но, я извиняюсь, товарищи, минуточку! Какая уж такая у Мухи невыносимость наблюдается в данный момент? Обута-одета, это первое. Раз? И шамовка, кстати, чуть ли не каждый день высшей марки, жируй себе от пуза. Во-вторых, люди вокруг — чистое золото, фартовые ребята, как в народе говорят. Это два, так? И задание есть. Особое! Секретное притом, сколько людей мечтают! Три получается? Да не три — сто три! Тридцать три миллиона! Только живи, паразитка такая, да радуйся. А не о расстреле каком-то там предательском мечтай, идиотка ты эгоистская! Резинка у нее, видите ли, рвется! А ты не зевай, росомаха, не жди, пока он порвет, сама трусы спускай заблаговременно. Ведь нервные же все, ранимые, давно уж привыкнуть пора, бляха-муха!

Нет, главное, что обидно? Как дура, сходила нарочно на речку, вымыла шею, как полагается. Без мыла, правда. Серого послед-

ний обмылочек, прозрачный уже, из рук, как лягушка, выпрыгнул и по течению уплыл. Не возвращаться же в землянку за трофейным, верно? Тем более, обертка с картинкой цветной — раскупоривать жалко: блондиночка, миниатюрная такая, на камне немецком лакированном сидит у речки, лахудра, ножки точеные поджала — прелесть! Причем название, между прочим, сам Гейне придумал, гансовский главный классик, еще в школе Вальтер Иванович наизусть учить заставлял эту муру — их вайс ниht вас золь эс бедойтен, — царство ему небесное, — “Лорелей”. У Мухи волосы тоже блондинистые, но всегда с лишним каким-то оттенком: то зажелтеются на концах, как старая солома, то вдруг посмотришь — зеленые, русалочки, буквально. А у немочки Лорелеи — ровненькие, нежные, голубоватые под луной, — глаз не оторвать! Этим-то мылом она их и моет, будьте уверочки!

Помывку, в общем, произвела. Трусики трофейные свежие беленькие натянула — на всякий пожарный случай. Резинка тугая, неразношенная, шелк в складочках, как накрахмаленный, шик-блеск — иммер-алигант! Три пары неношенных Володя-лейтенант в аккурат в четверг преподнес после боя, — мировой парень, скромный и надежный, как полагается. Потому что традиция такая в роте: с Мухой дружбу замарьяжил — будь уж добр, друг ситный, чтоб с бельишком трофейным вопрос был решен, — не нанималась каждое утро узлы вязать на резинке из-за невоспитанности вашей неотесанной да нетерпения вечного офицерского. Усвоили, слава богу, хоть самое-самое наконец. Сколько вкладывать в них приходится, сколько крови выпили, пока приучила все-таки вести себя как положено — хотя бы в разрезе обеспечения трусами — жуткое дело! Ведь фронтовые же условия все-таки, бляха-муха! Не говоря уж о лифчиках, их ведь на передовой днем с огнем, тем более, второй номер, самый ходовой. Уж и забыла, когда последний окончательно разодрала. С ночи до ночи соски зудят, причем все дойки в синяках, нечем прикрыться от сосунков. А ведь отдельные товарищи —

хлебом не корми, дай грудь пососать, — а сами уже давно не сосунки, а папаши высшей марки, про детишек рассказывать любят между делом, фотки показывают, — чудаки, честное слово!

Всё теперь, товарищи, баста! Расстреляет Смерш-с-Портретом вашу Муху — некому будет вам и карточки показывать. Так что ложьте зубы свои на полку, кобели стоялые, а про титьки девичьи забудьте. Кончилось ваше бесплатное счастье, ни кусочка не останется на память, будьте уверочки. Не раз еще спохватитесь, поймете наконец, что не умели ценить.

Ох, и устала же от вас от всех, если честно! Жуть! Другой раз ведь так загоняет за ночь наездник какой-нибудь, боров, козел, так всю истеребит, иссосет, до синяков изомнет, — с утра и голову не поднять. Чаем крепким с водкой отпаивает Лукич полудохлую Муху. Голову её поддерживает, как будто она пятилетняя какая-нибудь, да вдобавок больная. А у самого на усы слезы катятся. Вот его бы, дедульку трясучего, и поить с ложечки, да силы где взять? Истисканная, перемолотая вся в труху. В такое-то утро и взбредет в голову подлая мысль: а на том ведь свете легче, поди, живется. Тем более, если уже на этом добросовестно относилась, от коллектива старалась не отделяться. Так что, как говорится, что ни делается, все к добру, даже в некоторых случаях и расстрел, в частности. Ведь в иную ночь, особенно после боя, отдельные товарищи совсем совесть забывают: следующий уж под дверью, как говорится, груши околачивает, сами знаете чем, пока первый резинку на тебе рвет чуть не зубами, как будто сама смерть за ним гонится, а в тебя если дурака своего загнать успеет — спасется. Так и чувствуешь: весь он в тебе, прямо в сапогах, и стонет, скулит, ребяенок обиженный, и охает, — пожалей, мол, спаси, на тебя вся последняя надежда. А там уже слышно из-за брезента, и третьего принесло на радение, и четвертого: “К Мухе кто крайний будет, товарищи?.. Я за тобой, значитца, лейтенант! Слышь, земляк, оставь докурить!” — “Куда прешь? Не видишь — люди стоят!” — “Да мне без

очереди, я по благу!” — и ржут, жеребцы. Прямо какой-то массиванный налет, буквально! Попробовали бы вот сами — без перекуров, во-первых, да с одной задницей на три ярмарки, бляха-муха! Уж под утро не петришь ни бельмеса, не помнишь, не чувствуешь, — застынешь вся, задеревенеешь, как труба какая-нибудь водопроводная, а оно все течет, течет и течет...

Но это все, безусловно, только слабость и ничего больше. А если в корень заглянуть, покопаться как следует, как полагается, то сразу увидишь: моральное разложение — раз, паникерство — два, предательство общих интересов коллектива — три. Поганой метлой подобные настроения следует выметать из рядов, сама первая всегда ратовала. И пресечь свою слабость в корне тут ничего не стоит, кстати. Только вспомнишь, как ночью, в полете, снова услышишь родной до боли голос генерала Зукова: “Вперед, Чайка! На тебя вся надежда!” — сразу же на душе станет тепло-тепло, даже слезы на глазах, буквально. Ведь за них же и сражаешься, за дураков, за кобелей проклятых, так на кого же тут обижаться, если вокруг такие мировые ребята? Ты сначала в себя загляни, искорени недостатки, а потом уже от других требуй, когда идеальная станешь. Так ведь Сталин писал, верно?

В общем, скоренько, по-военному, вымылась, переоделась, пофриштыкала поплотней на всякий пожарный случай, да и посиживала себе смирененько на пенечке у землянки, патефон заводила. Надеялась, чудачка высшей марки, прикатит, мол, Смерш-с-Портретом прямо в расположение, разберется на месте, как человек, по-быстрому, да и оформит на тот свет тут же, без осложнений. Тут Лукич откуда ни возьмись — как чертик из табакерки: “Прощаться давай, дева! В Шисяево тебе топать, портянки перемотай. Яценко-связист прибегал: к себе вызывает тебя смерш, на месте будет решать вопрос. Целая вернешься, не дрейфь. Бог не выдаст — свинья не съест!” Сперва-то подумала, разыгрывает, как всегда, старый пес, парашу гонит. Он ведь трепач высшей марки, рыкло. А он пилотку снял, обниматься лезет, карточка

скособочена, как будто уже хоронит, заревет вот-вот. Чудак-человек, честное пионерское! Еще и перекрестил на дорогу трижды. На усах слезы блестят, — у всех контуженных глаза на мокром месте.

На прощанье завела себе патефончик в последний разок — до упора, на всю катушку. Поставила для настроения счастливую “Рио-Риту” — еще с Алешкой под нее в деревенском клубе танцевала. Чмокнула Лукича в нос, холодный, как у собаки. Могла бы, конечно, наплевать и остаться дома, в роте, — хотя бы даже из-за принципа! Ведь ничего такого не сделала, любой подтвердит, вся рота в курсе. Да разве ему докажешь? Смерш тоже ведь, пусть даже самый что ни на есть идейный, всегда при портрете, а как ни крути, в первую очередь все-таки он тоже офицер. Привык, значит, чтоб все ему на блюдечке с голубой каемочкой, — вынь да положь!

Ковыляла нога за ногу по резвой прямой немецкой дороге через молодой березняк. Понастроили гансы дорог от души и на совесть: навек здесь остаться рассчитывали. И теперь, когда их наконец погнали, причем и Муха внесла свой вклад, ну до чего же, товарищи, глупо ни за что ни про что помирать! Слезы, холодные, липкие, заползали Мухе в ноздри. Пекло в затылок майское наглое солнце: самый полдень.

Нет, ну до чего прилипчивая мелодия “Рио-Рита” — жуткое дело! Свистишь, свистишь и никак не остановиться. Как заведенная. А и ладно, так веселей...

Но наперерез настырной “Рио-Рите” в груди у девушки громыхал и квакал все злее пьяный неповоротливый похоронный марш. С глухой алчной радостью Муха видела себя в красном генеральском гробу. Миниатюрный такой гробик, как раз Мухе по росту. Уютный, с приветливыми кружевными манжетиками, подвешенный на золотых цепях к столбам хрустальным. Столбы — граненые, как ножки стройных старорежимных бокалов у бабушки в буфете. Торжественно, в такт обмирающему маршу,

несут спящую царевну Муху тихий Санька Горяев, сам длинный, как хрустальная оглобля у него в руках, и мертвый брат его Севка, простреленный в сорок первом на волейбольной площадке насквозь, и рыдающий командир пулеметного расчета Осип Лукич Плотников. Четвертый же столбина со скрипящей в проушине цепью поручен, — ой, мамочки! — да никак самому генералу Зукову? Уж и мечтать не додумалась бы о такой для себя окончательной чести!

А генерал-то, бедненький, опять, как тогда, восьмерки выписывает — треугольной своей нежно-розовой ясно выбритой челюстью, — страдает, сокол! Зубами скрипит. С перекошенным по-прежнему ртом, как запомнился Мухе в сорок первом. Вновь не унять ему, страдальцу, обиду за бессмысленные потери в наших стальных рядах...

И такая нежность к нему, такая вдруг захватила Муху жалость! Поднялась бы в гробу во весь свой рост да и крикнула б всем им в морду прямо: “Да что вы понимаете! Хоть бы один из вас за Родину родную так переживал, как он! Чтоб ни себя не жалеть, ни кого — буквально! А-а, кишка тонка? То-то! Одно только и умеете — поклеп возводить на героя, чмо болотное, бляха-муха!” Так бы, буквально, и бросила им в лицо, в самую харю. Если бы не цветы. А кому бы не жалко было с себя их сбрасывать? Тяжелые розовые розы — и на груди Мухиной, простреленной смершем, и на животе. Розы покрывают и Мухины ноги в офицерских новых сапогах. Девушка усопшая под букетами — как новогодний торт из “Норда” — тронуть страшно.

А Зуков, лапочка такая, нарочно на самолете прилетел — эскренно, — чтобы собственноручно Муху за сверхсекретные ночные полеты все-таки наградить, лучше поздно, чем никогда. Но командир дивизии тоже не промах, помнит, боров, как ему Муха в прошлое воскресенье спину терла да парку от души поддавала, — ну и сразу же он к генералу с рапортом. Так, мол, и так, товарищ командующий, рапортую вам свой доклад! Рядовой боец

пулеметной роты Мухина Мария, за беспощадную проявленную отвагу в боях с захватчиками-паразитами, а также индивидуальный подвиг высшей марки при выполнении особого командования задания в аккурат позапрошлую ночь, — разрешите на месте, без суда и следствия, представить к званию Героя Советского Союза — посмертно, как полагается! И останется генералу Зукову только взять под козырек, достать свой наган и радостно присоединиться к всеобщему тут же салюту в честь Мухи, — скромно, на общих основаниях встав в караул у красного миниатюрного гробика.

“Рио-Рита” кастаньетами стрекотала, подбадривала изнывающий похоронный марш. А лес весенний был солнышком весь облит, каждая черная веточка блестела как лакированная, синицы звенели напропалую, и листики желтоватые на глазах распускались, буквально. Весь мир теперь, до последней синицы включительно, осознает, какого товарища беззаветного не уберегли однополчане в лице Мухи. Но пока что, кроме, конечно, генерала Зукова, один только Лукич все давно понял, — какая Муха на самом деле была мировая девчонка, — потому и плачет себе беспрепятственно, не стесняется даже начальства, слезы стряхивает с усов седых. Он старенький уже, сорок два года, Муха его первого простит.

Или не прощать пока? Хотя бы даже в целях педагогического воспитания! А то распустил нюни, пень трухлявый, как будто бы не он вчера за обедом таким лещом отоварил — жуткое дело! Враз у Мухи из ноздрей брызнули его сто грамм наркомовских. Проглотить его пайку не успела, пока он за ложкой нагнулся, в голенище своем шарил, за поясницу держась и крехая. Сам-то сколько раз законную Мухину пайку нагло, в открытую причем, в кружку себе переливал: не положено, мол, юным пионеркам — и точка! Ты, мол, торжественной клятвой клялась всегда быть готовой, так что водку отдай и не грехи. Не положено детям, бляха-муха!..

## ГЛАВА ВТОРАЯ

*В которой Муха поражена детской привычкой советских офицеров теребить женскую грудь, а также их коварным стремлением целовать девушку непосредственно в губы.*

...Ах, не положено?!

А в трусы к пионеркам спящим по ночам лазать — это, по-вашему, положено, да? По какому такому уставу внутренней службы?!

Сколько уж раз поднимала вопрос: неужели же трудно разбудить человека заблаговременно, товарищи? Что за моду такую взяли, эгоисты высшей марки, — ни здрасьте тебе, ни разрешения не спросят, сразу кидаются с места в карьер, как наскипидаренные какие-нибудь белогвардейцы, честное пионерское! А ведь знают же, будьте уверочки, весь полк наизусть знает: сон у Мухи — богатырский, хоть кол на голове теши. Лукич сердобольный спервоначалу-то что ни ночь панику подымал, чудак. Тормошить кинется, в самое ухо заорет: “Ты что, концы отдала никак, Мушка? Машенька!” Приставал по утрам: почему, мол, не дышишь во сне, да пульса нет отчего, да холодная вся и зеленая, как мертвяк, — что ты, мол, за нелюдь за такая в наказание мне досталась? Ему, конечно, тоже несладко. Только-только после контузии в партии восстановился — обратно ротный стращает чуть не каждый день: “Вот убежит от нас твоя Муха, гляди, али завесится — партбилет мне сразу на стол кладешь, так и знай!” Рассказывает, а сам-то Лукич занкается, брови прыгают, глаза бегают, трясется весь — вот-вот развалится на запчасти. Крестится бедный, да



так на Муху поглядывает иной раз, как будто прихлопнуть ее собрался, только не решил еще конкретно, за что именно в первую очередь. А Мухе ведь, между прочим, тоже и самой неудобно. С одной стороны, все, вроде, в порядке: приказ ясен, ну и вылетаешь себе на задание, как положено. Почему же тогда в это самое время тело твое, как бы отвинченное пока что, ведет себя как-то не по-людски? Какую ошибку допустила? Действовала, как указано командованием, а ведь генерал ошибиться не может, он бы сам в первую очередь подсказал, если она что не так, верно же? Значит, и нечего сомневаться. Сказано раз-на-всегда: Родина слышит, Родина знает, и нечего тут рассуждать! С другой стороны, Лукича тоже понять можно: он-то не в курсе. Ну и пришлось, в результате, довести дедульке-бздульке, осветить положение дел, — как начались у нее в сорок первом секретные стратегические сны под личным чутким руководством легендарного полководца генерала Зукова. Лукич побожился молчать о Мухином особом задании до смерти, партбилетом поклялся и дал честное слово коммуниста с двадцатилетним стажем, за исключением тех восьми лет, когда он на нарах парился. А свой рафинад за завтраком стал отдавать Мухе, регулярно и без напоминаний. Даже материться при ней прекратил, а на ночь стал загораживать свои нары брезентом. Гостей Мухиных не боялся никогда, а снов, значит, застрашился: вот что значит контуженный по кумполу! Ну и ладно. В конце концов, его дело сторона, а наша задача, во-первых, стратегического характера, а во-вторых, не худо бы при этом и выспаться заодно, для чего ночь как раз и дается нормальным сознательным бойцам. Бессонницей пока не страдаем и, кстати, не нанималась всю ночь как в засаде дежурить, ждать, когда очередного козла черт принесет. Сама-то свидание, упаси бог, ни разу в жизни не назначала им, сосункам, фиг дождутся. Не контуженная еще, слава богу, самой-то, как Светка-фельдшерица, гостей на маздон зазывать, глазки каждому лейтенантишке строить, напрашиваться на членовреди-

тельство их гестаповское, — мерсите вас с кисточкой! Только ради них, паразитов, и терпишь, ведь дети же, буквально, хотя и офицера в душе. Так неужели же трудно за плечо девушку тряхануть или там за ногу какую-нибудь подергать предварительно? Кому же это, товарищи, приятно — от щекотки-то вашей невоспитанной просыпаться? Давайте практически смотреть! Вот тебе б самому, представь, хоть бы раз, спящему, начал бы чужой совершенно мужчина в трусах шмонать граблями своими ни с того ни с сего, да еще за лохматушку прихватывать. А? Да ты бы небось, аника-воин, такой шухер устроил, — всю бы дивизию по тревоге поднял в ружье! Рассуждать-то все мастера стали, положено — не положено, привыкли демагогию разводить высшей марки. А в той же самой боевой обстановке рядовой боец Мухина Мария выполняет свой долг скромно, безо всякого лишнего понта. Есть слово такое — “надо” — слышали? А некоторым даже и на фронте почему-то своя рубашка ближе к телу, никогда не войдут в положение. Но факты, между прочим, на свете самая упрямая вещь, сам товарищ Сталин неоднократно раз подчеркивал. И в этой связи актив роты, здоровое ядро личного состава, — каждый рядовой боец всегда готов по первому же приказу до последней капли крови, причем ни шагу назад, буквально. Кстати, если в разрезе общественного лица, так Муха уже девятый месяц бесценно является членом редколлегии ротного боевого листка: что Гитлера изобразить, штыком красноармейским проколото, что Сталина с усами — как раку ногу оторвать, три секунды. А в позатот четверг на собрании красноячейки выбрали даже агитатором — единогласно! Вот и успевай тут как хочешь — с одной-то жопой на три ярмарки, я извиняюсь. Потому начальство и довольно Мухой всегда, в пример ее ставит всем несознательным и нацменам, — они-то привыкли “моя твоя не понимай”. Хотя и среди нацменов, безусловно, не все поголовно чудаки. Покойный комсорг роты, например, старший лейтенант Свинадзе на последнем собрании так и сказал,

буквально: “Командование знает: Мухина — безотказная, с ней легко, можно положиться”. Интересный такой был брюнет. Зубы крупные, белые, усики черные, миниатюрные такие, успел еще в ночь перед смертью рекомендацию Мухе дать в комсомол, утром его и срезало шальной пулей, царство небесное. А письмо из дому как, бывало, получит, лезгинку отплясывать как пойдет, — асса! асса! наливай-ка! — обмираешь вся прямо: Сталин вылитый, копия, жуткое дело! Хотя и грех, конечно, так необдуманно сравнивать, тем более простого грузина, ведь Сталин, хотя и с гор тоже спустился, но по нации, безусловно, человек совершенно советский, несмотря даже на акцент.

А вообще-то, в принципе, национальный вопрос разницы не играет. И Вальтер Иванович, кстати, немец был, хотя и советский учитель, притом немецкого языка, а не какого-нибудь там рисования. Или у них, у учителей, тоже уже не считается? Не считалось бы, так цел бы остался, а не попух по-глупому, по-немецки. Факт тот, что в заботливой девичьей дружбе любой Свинадзе нуждается раз в неделю как минимум, на общих основаниях, согласно организованной очереди. Да и все одинаково, и татары даже, не говоря уж об армянах. Один такой капитан Седлян на mine недавно подорвался, интендант был, в клочки разнесло. Ну до чего же интересный мужчина, царство небесное! В первый-то раз с ним прямо ухохоталась вся, буквально, до икоты. Только гимнастерку с себя сблочила, улеглась, он на копилку фукнул, — и вдруг прямо на грудь Мухе что-то мокрое, холодное — шмяк! Лягушка? Ну, бляха-муха! И не шевелится, сучка такая, притаилась, прижалась. Дохлая, мамочки! Или не лягушка? Ведь интендант все-таки, должен соображать! А тут он как зарычит в темноте, как накинется! Грызть ее! Зубами, буквально. Лягушку! Прямо на груди у Мухи, под горлом. Вгрызается, горлом хрипит, клокочет, как янычар какой-нибудь из зоопарка. Инструмент свой при этом задвинуть все-таки не забыл, помнит, зачем пришел, не чокнутый, значит. Как понять подобное

явление прикажете? Это уж потом Муха обохоталась, конечно, а сначала-то, вроде, как-то все-таки дико: при чем тут лягушка, товарищи дорогие, вы что — вообще уже не ориентируетесь в обстановке? Интендант, тем более, не должен голодный-то быть уж настолько, так ведь? Признался он потом, извинялся даже, чудак, — обычай такой у него с детства, не может он с женщинами иначе швориться, не получается, обязательно должен одновременно и девушку тереть, и мясо сырое грызть. Вроде как только от мяса, исключительно, настраивается его инструмент, от мяса и крови. Вот и притаранит с собой каждый раз говядины кусок в полевой офицерской сумке — для аппетита. Привыкла, конечно. А все равно, смех, бывало, так тебя разберет, — не остановиться, буквально, страшно даже: а вдруг теперь всю жизнь так проживешь — с разинутой хохоталкой? Липко, во-первых, щекотно, кровь-то и по шее стекает, и в подмышки, а этот игрун урчит себе только да чавкает, покуда всю лютость свою не изольет. Жалела его, как больного. Не виноват же он, чудак, если характер такой особый, верно? Другие хуже: и за грудь могут цапнуть, и за шею, за плечо, прямо до крови. А этот — за что его миной? За говядины полкило? Так ведь для дела съедал исключительно, не ради удовольствия обжорского. Царство небесное...

Так что нация — дело второстепенное. Главное — чтобы характер у офицера был не слишком уж скипидарный. Чтобы за кобуру не хватался чуть что, трибуналом не грозил, если не дашь ему в очко дуть или на флейте играть не хочешь: стыдно ведь, товарищи, даже хоть и в темноте, давайте уж как-то все-таки соблюдать. А нацию-то ему всегда простишь. Ведь каких только наций у нас в стране не расплодилось — жуткое дело! Даже якута живого однажды принесло. Думала сначала — китаец. Речь у него такая — каждую букву обсасывает как будто: “Муска, Муска, я сицяс, сицяс...” И невысокий, для них, говорят, характерно, — Мухе примерно до подмышки. С грехом пополам при-

строился кое-как, подвалился, заправил дурака под кожу, туда-сюда пару раз дернулся, крикнул, как заяц раненый, брык — и захрапел себе, как заправский ездун. А Муха и рада: никаких с ним хлопот, даже и подмахнуть ни разочка не успела. Ткнулся он, голубь, носиком Мухе в пуп — и ваших нет. Только пятки из-под ватника торчат — миниатюрные такие пяточки. Желтенькие причем, как мандарины, — коптилка ярко их освещала. Радостно стало Мухе: с китайцем живым подружилась! Из угнетенной страны! Эксплуатируют там его почем зря, за человека не считают, а мы ему и погоны даже присвоили, и относимся наравне, как будто он настоящий. Да и есть настоящий, не кукла же заводная, верно? Натуральный почти что офицер, и шишка на месте, глазки вот только не до конца еще прорезались. Да пятки неуставные. Маринованные как будто. Ах ты лапочка! Взяла его за ушки, из пупа своего вытащила, подтянула повыше, разбудила деликатно и вежливо и, конечно, поинтересовалась, как все-таки по-ихнему, по-китайскому то есть, сказать, например, — “Даешь дружбу народов!” Обиделся, чудак. Видали? Гордый — страсть! “Ты зилой тэфка! — кричит. — Ты нехоросый биляты!” Вот редиска, а? С ними ведь по-хорошему нельзя, давно известно, — сразу нутро свое якутское покажут. Да откуда же знать заранее, якут ты контуженный или, может, японец какой-нибудь, на озере Халхин-Гол недорезанный? Когда вам копилку подставляешь, и двумя-то словами, бывает, перекинуться не успеешь, а на лбу у вас нация не написана, так что, может, вы все тут вообще эскимосы или даже каракалпаки, прости господи. Ну и что из того? Нация — болезнь незаразная, давно установлено. До сего дня косоглазыми от вас не стали — и дальше уж как-нибудь не окосеем, не пожелтеют наши советские пятки от ваших маринованных мандаринов. А этот скуластенький сапожки свои мальчиговые натянул да и покатился колбаской в китайскую свою земляночку. Только наутро Лукич довел Мухе про якутов: в четвертую роту двое их прибыло с пополнением на прошлой неделе. Рассказал

заодно, как они, якуты, на воле живут, за Полярным кругом. Ведь до чего дошли с гордостью своей узкоглазой: оленей прямо сырыми едят посреди тундры, в снегу, даже Лукичу давали сырую оленину и кровь, еще теплую, потому, говорит, и остался живой, в лагерях-то голодуха стояла — насмерть; а советская власть ничего пока что поделатать не может с подобной дикостью, только руками разводит и дала им, якутам, к счастью, настоящую грамотную письменность, даже русскими буквами мы с ними поделились, потому что народ все же смирный, безвредный, такие чудачки, только пьют все время спирт да помирают от туберкулеза. Так при чем же здесь тогда национальный вопрос, спрашивается? Если, оказывается, и на севере, и на юге мужской пол без мяса сырого ну просто жить не может, хотя большинство и скрывают, конечно, стесняются своих невоспитанных манер. Да тут ведь скрывай, не скрывай, шила в мешке не утаишь. Когда он тебя в первые-то минутки спокойно да ласенько потягивает да холит, а потом входит в раж, жарить принимается как положено, да выть, да рычать, да зубами скрипеть, как припадочный, — пускай даже и хохол обыкновенный, или белорус, или москвич коренной, — тут ведь, товарищи, со стороны-то сразу все видно, как бы вы в мясо девичье вгрызлись, клыками впились бы, жуткое дело, только волю вам дай. Природа такая у вашего мужского рода — хищная. Хотя с виду как будто и прирученные вы домашние вполне животные: кто повадкой на жеребца-стригунка смахивает, чуть что — сразу на дыбы, кто баран высшей марки, что в лоб, что по лбу, за целую ночь, бывало, ему не докажешь, что товарищ Лещенко поет все же лучше Вертинского, задушевней. А иной, ну прямо козел вылитый: тот бы тоже, небось, звездочками на погонах гордился, как павлин, только побольше навинти. Или вот Лукич смирный — он, конечно, мерин сивый. К узде притерпелся, не взбрыкнет, тянет свой воз ни шатко ни валко, и уж не натрет ему холку хомут, не чует шкура, задубела. Отсюда у него, конечно, богатый жизненный опыт. Умный — как жид, не голо-

ва, а Дом советов. Всегда и обстановку тебе разъяснит, и тактику верную выбрать поможет, будьте уверочки.

“Ты главное пойми, чудачка, — Лукич говорит. — Наций на нашей Земле-планете фактически пока только двое: мужики да бабы. Бабы, как полагается, удирают, конечно, юбки задрав, а мужики — за ними. Но не галопом — только рысцой, исключительно. Не догоню, мол, так хоть согреюсь. Таким макарком у нас жизнь-жистянка и бежит по кругу спокон веков, как белка в колесе. Называется по-научному прогресс. Поэтому к тебе всякий офицер и лезет со своей свайкой — это твоя женская доля, порядок такой от сотворения мира. В бабью зрелую пору войдешь — и сама с промыслом Божьим придешь в согласие, а пока суд да дело — терпи. Деваться нам с тобой все одно некуда. Лезли и будут лезть, факт”.

Сам-то Лукич ни разу не лез, слава богу, не о нем речь в данном случае. Лукичу это не надо. Он святой, все говорят. Контуженный потому что. А кстати, и не предусмотрено сержантскому составу офицерскую забаву напяливать, он сам сколько раз повторял: “Что попу можно — дьяку нельзя!” Про офицеров он еще вот как выразился однажды: “Ихние благородия все одним миром мазаны. У них рука руку моет, ворон ворону глаз не выклюнет, известно. А в барыше со всех дел — кто? Только ты и есть в барыше, Муха. Им-то после войны и погордиться будет большинству нечем: всем офицерским составом две юбки обслуживали, твою да Светки-фельдшерицы, кобылы этой стоеросовой, двустволки позорной. А ты теперь на всю жизнь богачка: кавалеров имела — полный гарем персидского шаха. У тебя и опыт теперь на все случаи жизни, и все преимущества. Состаришься — вспомнишь не раз, как за тобой майоры да подполковники табуном бегали, не говоря уж о лейтенантиках зеленых. И внучка тебе еще позавидует, а может, и правнучка, помяни мое слово крепкое, бляха-муха!”

Нет, тут уже все-таки дело принципа: положено или не положено? Несовершеннолетняя, это раз. А во-вторых, давно уже в действующей армии не на птичьих правах, не жучка какая-нибудь, не шестерка. В солдатской книжке черным по белому значится: второй номер пулеметного расчета. Причем нигде особо не оговорено, чтобы женскому персоналу сто грамм не выдавать, это ежедневная законная норма на каждую боевую единицу — на то и война. Не положено! А водку у непьющих на шоколад выменивать, да в трофейную фляжку со свастикой сливать, как Лукич святой, да по ночам втихаря насвистываться в сиську у себя на нарах за брезентом каждую божью субботу — положено? А если ночью в бой? Им, гадам, закон не писан, а тобой, значит, если еще не комсомолка, каждый может командовать как угодно, что днем, что ночью — да? Да если бы не комиссар Чабан, так еще в сорок первом всем бы вам, кобелям, на всю жизнь бы месть сотворила. Пистолетик-то вот он, всегда при себе, в заднем кармане затырен, даже ночью задницу греет, покуда галифе с тебя не стащит какой-нибудь аника-воин. Сунуть бы ствол себе в рот — вместо горькой-то вашей вафли! Так бы зубами и вгрызлась напоследок, чтобы помнили всю жизнь, и — трах-бабах! Пусть потом трибунал разбирается, кому из вас первому за юной девушки незабвенную гибель письку оторвать, — все распушенность проявляли, всем гамузом, каждый достоин! Но должен же кто-то и сознательность в себе чувствовать, верно? Тем более, если мечтаешь вступить в комсомол, как полагается. Уже и рекомендацию подписал сам комсорг, — успел перед смертью, царство небесное, мировой был парень. Никогда подпись его не сотрется: химическим карандашом зафуффырил! Сама ему, чудаку, грифель наслюнила, пока курил после пятого, что ли, захода: уже и в лягушку с Мухой наигрался, и в маятник, и салазки ей загибал, и вафелькой угощал, — все выдержала, не пикнула даже, а ведь куда только кукурузу свою не запускал, игрун. Морально, конечно, очень было тяжело. Если, конечно, не



знать, за что борешься, не видеть ясно большую высокую цель, не иметь в душе настоящего комсомольского огонька. А когда цель ясна, когда тебе доверяют товарищи, когда начальство тобой довольны, жизнь любого человека сразу же приобретает глубокий смысл, это ведь и якуту даже любому понятно. А не понятно тебе — научим. Заставим понять! Всем коллективом, всей страной, бляха-муха! Ты главное осознай: весь смысл — в борьбе, в первых рядах, рядом с Павкой Корчагиным! Не могу, говоришь? Через “не могу”! Так нас и партия учит, и родной комсомол. Ты в самом себе осознай: главный твой враг — собственная твоя слабость, мягкотелость, расхлябанность, политическая незрелость и мелкобуржуазный оппортунизм. Ты сам, в общем, и есть главный свой враг, — и днем и ночью, круглые сутки. Вот против себя-то в первую очередь и борись, чудак-человек! Пока не задушишь в корне все свои мещанские предрассудки: несовершеннолетняя, мол, живот болит, и так далее. Обижают ее, фифу маринованную, — видели цацу? Корчагину, думаешь, легче было? В сто раз тяжелей, в тысячу, уж будьте уверочки. Ты только сравни, сопоставь, кто он, а кто — ты. И при этой своей всемирной вечной славе, он ведь до чего скромный был — это не передать! Ни на минуточку не забывал: есть такое слово на свете — “надо”!.. Этим и пользуются, конечно, эгоисты единоличные. Знают, что для тебя всегда коллектив на первом месте. Ну и, конечно, лезут. Проснешься, схватишься за трусы, — погоди, я сама спущу, никуда не денусь, раз уж твоя очередь нынче, как тебя там, Колька, Сашка, не дергай, охолони маленько, дай хоть глаза протру! А резинка уже, готово дело, опять порвана, причем кончик в дырку ушмыгнул, только булавкой теперь вызволишь...

И что такое они все там, под трусами, обнаружить хотят — удивительное да расчудесное? Конечно, в любом ленинградском дворе все нормальные пацаны обязательно играют в больницу, — укол в попу голую делать, — но ведь то дети малые, так? Тут-то все ясно. Просто интересно ребятишкам, как человек устроен,

вот и проявляют любознательность, как и полагается сознательному будущему пионеру и комсомольцу. Из каких он на самом-то деле винтиков, гаечек да шлангов — наш советский человек? Ведь он же тоже машина, верно? Причем механизм высшей марки: передвигается, во-первых, и говорить может, как радио, разными голосами, и работать умеет не хуже какого-нибудь станка, особенно если такое и присвоено почетное звание — ударник. С другой стороны, возьмем куклу, например. Хоть булавкой ее коли, хоть башку откручивай напрочь — молчать будет, как убитая. А человек почему-то на ее месте обязательно заорет, как будто его режут, стоит только чуть посильней булавкой кольнуть, если без очереди на укол влез, бессовестный. Но вот до какой степени он терпеть может, это науке, к сожалению, пока не известно, не установлено. Поэтому каждому будущему бойцу с детства необходимо вырабатывать солдатское хладнокровие. Хотя и танки наши быстры, как в песне поется, а все же на всякий пожарный случай. Ведь и тебя могут, как Мальчиша-Кибальчиша, самураи какие-нибудь поймать, да начнут со своими дурацкими харакирями приставать: выдавай, мол, своих, пионерская твоя морда, а не то хуже будет! Ведь неизвестно еще, с кем завтра придется воевать: весь мир против страны советов ополчиться готов, всем она поперек горла встала, каждый буржуй напасть только и мечтает, причем как можно вероломней, жуткое дело! В этой-то связи как раз и надо постоянно тренироваться, чтобы любая пытка была нипочем, чтобы Сталин всегда на тебя мог положиться, когда новую военную тайну придумает на страх врагам, самую непобедимую. Потому и выбрали Муху тимуровцы главным хирургом: у нее для этих воспитательных целей стойкости и героизма постоянно в трусах имелась булавка английская, нарочно затупленная немного об асфальт, чтоб не до крови колоть, если кто-то все-таки еще боится по молодости лет, не в полную мощность сила воли развита. Даже здоровые уже лбы, лет шести-семи, без очереди ломались на прием, в драку лезли,

буквально, полдня могли спорить, кому из них укол Муха сделает, причем обязательно требовали без наркоза. Такому сознательно-му чудаку, конечно, с удовольствием навстречу пойдешь, потому что видишь: у человека есть цель. Ведь терпение не только от силы воли зависит, надо, чтобы человек осознавал цель — самым терпеливым на свете стать, настоящим большевиком, кремневым, стальным, или хотя бы пока для начала деревянным. А саму Муху кололи в последнюю очередь — каждый по три раза. Но поощряла подобным образом только тех, кто сам выдержал, не разревелся. Сама-то хоть бы пикнула когда — нисколючко и не больно, подумаешь! Так и ходила в главных хирургах, покуда ее в пионеры не приняли. Малышня потом еще целый год хвостом за Мухой таскалась: ну, дай укольчик сделать, ну, тетя Маша, хоть разик! Привыкли, говноеды, что бесстрашная тетя Маша, самая терпеливая. Потому ведь и оказали ей доверие старшие товарищи, красный галстук повязали на грудь — как примерной активистке. Теперь во дворе каждому пацаненку, каждой пацаночке доводить приходилось индивидуально: да поймите же вы наконец, юным пионерам детские игры чужды, у них свои законы коллективизма и настоящие взрослые принципы, дружба дружбой, а табачок врозь!

А на фронте сразу же поняла: взрослые-то, оказывается, еще хуже мальчишек. Жуткое дело! Главное, уже и анатомию большинство офицеров проходило, а все воображают какое-то чудо там раскопать — у обыкновенного нормального человека под трусами. Как психические дурачки какие-нибудь, и смех и грех, честное пионерское! Даже хуже детей — в сто раз! Нормальный советский тимуровец, хотя бы пускай он, допустим, ябеда высшей марки, самый отпетый гогочка, нытик и маменькин сынок, — и все равно, даже и он, предатель, да никогда же в жизни до низости такой не додумается — резинку на тебе рвать или в грудь голую зубами впиваться. Потому что схлопочет, как пить дать, по уху в ту же секунду. И прекрасно об этом догадывается,

и зубы свои молочные распускать не собирается, хотя они у него и чешутся, может, особенно когда выпадать собираются. Не положено — значит не положено. Не сосунок уже, не грудной младенец. Что в больницу, что в дочки-матери — нечего свои единоличные правила выдумывать, никто права такого не давал. Правила в любой игре одни на всех: есть желание получить укол — занимай очередь на общих основаниях. Не умеешь — научим, не хочешь — заставим, все тихо, по-хорошему. Но если ты, друг ситный, щипаться задумал прищепкой бельевой, или котят мучить, или жабу соломинкой надувать, если тебя наши общие правила не устраивают, — извини-подвинься, как говорится, не по адресу обратились, гражданин, другую компанию себе ищи. Там тебе и кусаться разрешат, и резинки рвать — хотя бы в соседнем дворе, в доме пятнадцать, там все такие — лишены деклассированные: у кого папаша враг народа разоблаченный, у другого дядя кулак, а третий сам исключенный из пионеров, — банда подобралась как на подбор, жуткое дело прямо! А в нашем доме на все пять этажей ни одного чуждого элемента не осталось, уничтожены все как класс. Да если бы один кто из нашего двора хоть раз допустил подобное поведение — весь бы коллектив моментально отреагировал. У нас-то ребята мировые, запинали бы его, психа, на фиг, не видать бы ему тогда не то что титьки тети Машиной, укола самого простого и то ни разочка больше не дала бы ему сделать, ни в попу, ни в живот, — на пушечный выстрел не подпустила бы. Псих и есть потому что! Станет ли вас сознательный советский ребенок за соски кусать, — вы сами-то задумайтесь, товарищи дорогие! Ведь это уму непостижимо, кошмар какой! Не то что там пионер со стажем, — да в нашем дворе любой же сопливый пизденьш всегда в состоянии разобраться, оценить обстановку и взять себя в руки, как положено, несмотря что, может, он пока от горшка два вершка.

А эти чудаки — ну как с цепи сорвались, честное пионерское! Главное, ладно бы только лейтенанты зеленые, у них и вправду

молоко на губах не обсохло, не успели еще мамкину сиську забыть, — но ведь и старший комсостав, вот что поражает! Не говоря уж о среднем. Со стороны посмотреть на какого-нибудь майора Хрюкина — кадровый офицер, орденоседец, зубы белые, крупные, интересный еще вполне сорокалетний старичок. А на самом-то деле у него с утра до ночи одно на уме, оказывается. Раздеться еще не успеешь, он сразу же тебя лапой — цап! — аж дыхание перехватит. Как будто руки у него чешутся — что бы такое схватить! Ну и начнет, конечно, тискать тебя, мять, сжимать-разжимать, — месит, в общем, как тесто, пока все дойки не распухнут. А потом вдруг как кинется, как присосется, чудак такой, — жуткое дело! Пыталась им, как людям, объяснить: нету там у меня молока, не выдавливай, все равно ни капли не выдоишь, сколько раз убеждалась. Только зарычит Хрюкин, как звереныш голодный, и — зубами. Грызет, кусает, всасывает, облизывает, как будто ты мороженое, крем-брюле, — втягивает, как соску, уже кажется, что вся ты там, в пасти у него, целиком помещаешься, прямо вместе с сапогами, — ну хватит же, товарищ майор, бесполезно это; да вы, может, сгущенки хотите, так у меня банка открытая под топчаном, я ведь тоже любительница, протяните руку-то, пошарьте внизу, нащупайте, — не слышит. Причмокивает, сопит, подскуливает, — кутенок вылитый, слепой щенок матку сосет. И такое, главное, впечатление от этих его стонов раненых, как будто он, чудак, чем-то там все-таки насасывается себе тихой сапой, — неужели же кровью моей, бляха-муха? Сколько раз потом проверяла: нет. Ни кровинки, ни капельки. Только синяки красные — от этого ихнего хватанья голодного — второй уже год не сходят. И соски оттянуты, как у суки кормящей или козы; — так фигами и торчат, мол, фигос под нос вам, товарищ майор, а не молочка сладенького, — пустышку сосите!

Привыкла уже — в принципе. Только зудит постоянно и пить хочется по утрам — жуткое дело, как будто с похмелья. Лукич смеется, паразит: “Что, Муха, обратно кишки горят с пере-

пою? Сколько тебе раз повторять: с начальством пить — только хмель изводить”. Смеется, а сам слезу свою контуженную в углу глаза пальцем давит. Жалко ему, конечно, Муху, ведь слышит все по ночам у себя за брезентом, да помочь не может, руки уставом связаны. А слезет кавалер с ее топчана, оденется, уберется потихому восвояси, закроет, наконец, Муха глаза, — тут Лукич сразу же со своих нар — прыг! Подойдет, поправит на Мухе ватник, подоткнет с боков, погладит ее тихонько по голове, перекрестит на ночь и сам, дурачок, перекрестится: “Отче наш, Иже еси... Богородице Дево, радуйся!..” Хоть и контуженный, а хороший все-таки человек, стремится войти в положение. Почему же вдруг хочется его, чудака, в добрую такую минутку — матом покрыть? Но в то же время и сознает Муха, что если бы силы были, если бы не пил снова полночи кровь из ее груди майор Хрюкин, или какой-нибудь стройный капитан Стремянный с твердыми губами, или подполковник Копытин, — то непременно тогда она за это свое постыдное желание ругаться на доброго, ни в чем не виноватого старичка, за злобу непонятную на Лукича святого тут же застыдилась бы, будьте уверочки, покраснела бы и попросила скорей прощения. Вот именно — бы. Если бы да кабы, — а ни ногой пока что не шевельнуть, ни грудь голую прикрыть мочи нет. Лукича-то стесняться нечего, а соски на воздухе меньше, вроде, зудят, чем под одеждой, очень все-таки воспалены. Хоть и нельзя сказать, чтобы майор Хрюкин такой уж был яростный и ненасытный сосунок, как, например, подполковник Быковский, который всегда норовит оба соска сразу в рот себе запихать и очень злится, когда это у него не получается. Причем саму же Муху и обвиняет, что похудела, несмотря что сам-то ни разу ни шоколаду девушке не принес, ни хотя бы сгущенки банку. А как тут на них на всех тела напасешь, если без дополнительного пайка, при такой ответственной должности? С одним только потом сколько из тебя выходит — кто считал? А тела всем подавай мягкого, сытого, крепкого, чтобы в руку взять было приятно и

буфера, и вообще, любую часть твоего девичьего организма. Ну так приносили бы шоколад регулярно, в чем же дело? Нет, они шоколад будут сами жрать, а тебя потом обвинять, что вторую грудь одновременно до пасти им, видите ли, не дотянуть — до того похудела. Каждый из себя фон-барона строит! А если Хрюкин и принесет когда шоколадку, то потом целый год вспоминать будет: ложись, мол, так, как в тот раз, когда шоколадку тебе принес. Как будто Муха теперь всю жизнь должна за ту шоколадку корячиться, — вот скупердяга, а?!

Вообще-то почти всегда по повадкам, — по тому, как он к тебе подваливается, да как заправляет, и распаляется, и на нет сходит наконец, — всегда по этим данным можно вполне догадаться, какой кто на самом деле офицер, — жадный эгоист-единоличник или все-таки, может быть, не совсем фон-барон, а хоть чуточку сознательный товарищ. Хотя, по правде если, с большинством офицерского состава и не поймешь: то, вроде, и внимание к девушке проявит, и поговорит с тобой по-товарищески, не торопясь, даже подумаешь, бывает; хоть один-то нашелся из всех, не надо ему этой дури детской, взрослый уже, серьезный мужчина, вплоть до того, что даже уже можно просто так рядом с ним лежать и беседовать, как с братом родным или хотя бы двоюродным, — одно удовольствие, да к тому же и резинка останется цела — красота! Тут-то он на тебя и вскочит, как казак в седло, да и поскачет галопом. Как подменили человека, жеребец жеребцом, спасибо хоть не подковали его, а то бы совсем затоптал насмерть. А потом, когда дело сделано, — уже снова, вроде, на человека похож, ни обиды не удержишь на него, ни злобы к нему нет за такие грубые да неотесанные манеры и жуткий кобелячий эгоизм. Легко, когда знаешь главное: для тебя это служба, работа, долг перед Родиной и родной партией, а для него, чудака, то ли болезнь хроническая, то ли припадок, что ли, а с больного — какой спрос? Тем более, он ведь фактически ребенок, разве можно всерьез принимать?

Старший лейтенант Сбруев, например, — мировой ведь парень, верно? Молодой, а уже солидный, степенный. И ничего тут фактически удивительного на самом деле нет, потому что он сибиряк, из-под самого Красноярска прибыл, они там все такие, говорят. Суетиться в Сибири не полагается: закон — тайга, медведь — хозяин. До войны Сбруев успел отслужить срочную, а потом еще два года махал кувалдой в колхозной кузнице. Плечи — во, походочка — как у того медведя, на которого Сбруев с рогатиной ходил один на один. Однако же на топчан к девушке укладываться станет — во сне и не почувствуешь даже. Ну прямо до того деликатный! И ведь никогда, я извиняюсь, в трусы тебе, спящей, не полезет. Дисциплинированно будет тихой сапой покуривать свою “Звездочку” рядышком, потихонечку, — ожидать, когда ты сама проснешься. Совершенно беззвучно причем. Изредка только грудь свою волосатую почешет с треском и свиристеньем или вздохнет — развернет, как баян, кузнечные свои меха, так что откатит Муху жаркой мохнатой волной да и придавит к стенке нечаянно — вот чудак-то!

- Сбруев, ты, что ль?
- Я, Муха, а кто же? Физкульт-привет!
- Приветик! Явился не запылится!..

И она засмеется тихо и хрипло, чувствуя сразу, как оттаивает, отходит в его широком тепле ее омертвленное стратегическим сном тело, никому на земле не нужное еще минуту назад, пока она летела заданным курсом на голос генерала Зукова, — да вот вдруг как будто в яму воздушную попала, что ли. Разом ухнула, кувыркаясь, вниз, к земле-матушке, да прямо, выходит, угодила со страшной меткостью в самую себя, в Муху, к стенке Сбруевым придавленную на полный его вдох. Согреваясь и торопясь насытиться греющим уютом у него на груди, пока не настала минута неизбежной муки, запотягивается Муха, заново привыкая к своему телу и устраиваясь в нем поудобней, изогнется кошкой,



калачиком снова скрутится, пощекотывая неохватного бугая коготками и одновременно прижимаясь холодным со сна, хлюпающим девчоночьим носиком, сопельки свои невинные утирая об его раскаленное круглое, как волейбольный мяч, плечо, с чистым запахом спортивной силы и крепкого мужского одеколona “Шипр”. Заворочается, малышка, юлой вертясь с боку на бок в щедром покое его глубокого, подспудно рождаемого жара, — и ляжки отогреет себе об его жаркие каменные бедра, и в живот ему свои ягодицы — холодные фасолины — уткнет доверчиво, затылком у него на груди, в поросли упругой, как в траве, — места себе не находя от радости. Как будто бы утром взяла Машу-малышку к себе в постель мамочка, в выходной свой день, и можно полчаса понежиться в родном тепле. Знает Муха, что ни с кем, кроме Сбруева, счастье такое ей не позволит, — и ластится к нему, и прижимается вдруг щекой, даже погладит его по-детски, как пса домашнего, как, даже может быть, папочку, когда он просил, к ней, малышке, наклонясь: “А ну, покажи, Муха, как ты отца любишь, ну?” — а ей не хотелось его целовать, как мама ни уговаривала, только погладит по щеке и убежит. И набирается, и набирается жизни от твердых бедер Сбруева продрогшая в своих летучих снах пионерка, и вот уже заледенелыми половинками узенького своего задика подрагивает-шевелит, — все поглаживая да щекоча дружка легонько, неподвижного, как дом, отвлекая мучителя будущего разговорами, — другой-то ведь и минуту не стерпит ее болтовню, жужжанье мушиное, — все тараторя и тараторя, чтобы подольше он не начинал. Не единственный чуть ли из всех, с кем привыкла она делить свой жесткий топчан, свой короткий сон и вечнохолодное жилище своей летучей души, Сбруев слушает без раздраженья ее полудетскую болтовню, заговаривающийся лепет Мухино полузабытья. И льется, льется из округлого ее ротика бессвязный поток имен и названий, кокетливо растянутых гласных и патетических восклицаний с непритворной слезой на ледяных глазах. Наименования

человеческих тел и неживых предметов на кругах ее торопливой речи не более, но и не менее важны и весомы для нее в эти минуты короткой дочерней радости, чем трели, переливы и рощерки какой-нибудь незатейливой, повторяющейся из века в век песенки счастливой зарянки в июльский полдень. Мелодичная морзянка тоскующей Природы, которая словно бы и не обрела еще достаточно удобноеместилище для всех шифров и кодов всемудрого Логоса, не натянула по его чертежам голосовые связи человека и не влила в наш глиняный череп достаточную меру жидковатого все же мозга, круто, как звездами, присолив застывающие извилины нескончаемо язвящей нас самовлюбленностью Вседержителя, которая маскирует страх перед собственным ничтожеством человечка. И жалобы на вновь порванную резинку трусов продергиваются красной нитью сквозь бурный, прерываемый возмущенными всплескиваниями, фыркающим смешком с ладонью на губах и шаловливым пошлепыванием по гладкой коже терпеливо вздыхающего Сбруева, жадный, трусливый и гордый монолог, смутный и монотонный. О полковых новостях толкует шкица, уже хмельная от сытости телесной, — уже не видно льдинок в ее глазах, остались одни зрачки, втягивающие в черную пустоту обращенное к ней тепло жизни. Она говорит, говорит, говорит, — захлебываясь, брызжа холодными капельками слюны, глотая слова, забывая свою мысль, которой и вовсе, быть может, не было. Говорит о себе — что скушала сегодня, да кто за ней ухаживать пытался — то есть поволок в кусты, зажав ей ладонью рот, подловив за бугорком, куда привыкла ходить до ветру, — да как ловко отшила наглеца, поскольку рядовой состав, еще никто и ничто, а туда же, — видали?! Говорит она о своем Лукиче, премудром придурке, о пьяных его причудах и пьяных же дивных речах провидца святого, — ведь единственная во всем полку не отмахивается Муха от нужных его поучений. Порассуждает девонька и о Гитлере. И о командире роты, у которого нынче радикулит Мухе на радость, уж вторую неделю

не допекает, старый козел, а то ведь чуть ли не каждый день после обеда к себе вызывал, — отлеживаться потом до вечера приходилось, живот прямо твердеет от боли, кирпич, буквально; даром что ростом не удался командир, зато весь в сук ушел, как говорится, — оторвало бы ему, что ли, этот сук, осколком бы срезало, очередью автоматной спилило, я извиняюсь.

Еще говорила Муха о неимоверном счастье своем — жить и воевать бок о бок, плечом к плечу с такими золотыми людьми, как командир роты, — он ведь хотя и козел, конечно, а командир мировой — смелый, решительный, самостоятельный, ни с какими потерями не считается никогда, приказ для него — это святое, жуткое дело! А замполит полка Иноходцев? Ведь ни разу еще за полтора года не отпустил ее из своего кабинета в штабной избе без двух пар фильдекосовых чулочков и плитки шоколада впридачу, несмотря что не задержит дольше пятнадцати минут, даже и раздеваться с ним не обязательно, руками только погладить, потеревить да лизнуть пару раз, — такой у них, говорит, у мусульман обычай, по шариату положено. Вот чудак, а? А может, и врет, что обычай, а просто он старый уже, ленивый. Ведь старший-то лейтенант Свинадзе тоже нацмен был, почти мусульманин, усики такие миниатюрные, но уж если занырнет ночью к тебе в землянку, то как запустит поросю своего в капусту, так и будет всю ночь елдарить, до самого рассвета, пока Лукич на своих нарах не заворочается от холода перед утром.

Вздыхает молча, поеживается Сбруев, и не заметит Муха, как пресечется вдруг мощное его дыхание, — докурит он в две затяжки папироску и новую тут же прикурит от окурка. И длится, тянется, течет жаждающий, к вечному женскому самообману пробирающийся тайком монолог, — к той высокой сияющей точке, где самой девочке вдруг станет ясно до конца, какая она на самом деле миниатюрная деликатная блондинка, в будущем, возможно, артистка кино, а пока просто надежный товарищ, скромный, проверенный, это во-первых, а во-вторых, самая, конечно, красивая во

всей дивизии, а может, и во всей Красной Армии, — уж не потому ли и генерал Зуков ее выбрал, тоже, конечно, влюбленный, я извиняюсь, по уши, уж будьте уверочки, а в дружбу с Мухой вступить ему пока что никак, вот и осталась генералу на долю лишь совместная с любимой девушкой тайная служба, общий героический подвиг ради Родины нашей родной спасенья.

Льетса, струится, вяжется заплетающаяся ее речь. Как будто, изголодавшись, вновь лакает домашнее молочко любимица всей семьи, хорошенькая пестрая кошечка, исхудавшая за неделю, пока пропадала невесть где, — заблудилась, домашняя ведь, нежная, не то что уличные, дикие, им-то все нипочем, — как ткнулась, бедняжка наша, в блюде молочное, прижав виновато драные свои ушки, так сразу и закипела всею своею кошачьей холодной нежностью к себе самой, — за ласку примет ее урчанье хозяйка добрая, за благодарность, за любовь.

Докурит Сбруев, вздыхая со всхлипом, поплюет аккуратно на окурок, кинет его под топчан в консервную банку, которую утром Лукич вытряхнет в печку, — да и загребет Муху одною рукою и со вздохом — теперь уже легким — усадит ее, обрадованную и перепуганную, на себя верхом. Как папочка, бывало, в хорошем воскресном настроении сажал ее себе на колено — покачать. Еще раз вздохнет Сбруев освобожденно и молвит: “Замудохался я сегодня, Муха. Политзанятия проводил с ротой — взаменсто капитана твоего. Устал, как собака. Поскачи маленько, поиграйся. Ты ж любишь, я знаю...”

О, как в первый раз, полгода назад, когда Сбруев явился в полк, — о, как затрепетала, забилась проснувшаяся в его руках Муха! Обмерла она и в собственных глубинах затаилась, когда огромные горячие ладони подняли ее, как на тарелочке, и усадили, папину заново дочку, на лихого коня верхом, да и рванул в галоп конь-огонь, Сивка-Бурка, — волною пошли выгибаться высокие бедра Сбруева, и никуда тебе, Мушка, посаженной, да для надежности еще и насаженной, — никуда уж не деться,

ухватись только за шерсть у него на груди, да гляди, чтобы ветром на повороте не сдуло. Сбруев лишь слегка напрягает спину, ягодицы и бедра, Муха же, — на колене папином, — взлетает, зажмурившись, под потолок и падает обратно, в удобное широкое седло, — и снова, снова подскок и взлет. Теперь уже как будто бы на качелях взмывает и ухает вниз раскрасневшаяся девчонка, а Сбруев-то, уже не по-товарищески совсем, то блинка поддает, выгнувшись резко и не в ритм, то в сторону ерзнет, — чуть не свалится с него Муха, аж сердце в пятки канет, — и радостно, радостно ей играть: вскрикивает, охает, матерится сорванец гибкий, пацаночка, заводила, — ни о войне уж не помнит, ни об усталости вечной. Спешит она, бедненькая, наиграться, надыхаться впрок радостью детской, ведь только с одним чудачком Сбруевым так бывает, — успеть бы, успеть натешить ребячьей работой игры резвое чертенячье тело. Еще страшнее! Еще веселей! Гоп! Гоп! Но! Ннин-ннооо! Пошел, Сивка-Бурка, вещая каурка, — рысью шпарь, галопом сыпь, нннооо-о-о-оооо!

Если бы вот еще не мешал взлетать повыше дурацкий тупой штык — сидишь на нем, как навинченная, досадно даже! Но тут уже ничего не поделаешь, к сожалению. И для Сбруева тоже, как для любого офицера, он почему-то важен и уважаем безмерно. Из-за него фактически и имеет место вся эта суета и дерготня. И ты, если девушкой родилась, вынуждена вокруг него всю дорогу вертеться, по воле его тупоголовой, как бабочка проколота в гербарии, буквально. Да и сам офицер уже и не знает, чем еще ему угодить, как помочь ему в деле, таком вроде бы важном, что ни о чем другом и думать человек не в силах, пока оно, главное самое, не закончено. А ведь как будто, на первый взгляд, так же просто все, как пописать. Да не тут-то было! Вплоть до того, что не может человек в одиночку с ним справиться, должна обязательно девушка знакомая помогать, если жены под рукой нет, и притом не словом, а делом. Ни шутками, ни разговором теперь от него не отделаешься, приходится засучить рукава и

довести до конца, как согласно всех правил нам гласит. И тут уж, бывает, на все пойдешь ради доброго дела, то так изогнешься, то эдак, змеей вьнешься, буквально, даже иной раз лягушкой скачешь. Да мало ли как его взять-то можно, тело-то само подскажет, ты только поворачиваться не ленись да главное помни: пока дело не сделаешь, ни тебе самой покоя не будет, ни товарищу боевому, который к тебе, как к сестре за помощью обратился в данном случае, доверяет тебе и уверен, что не подведешь. И когда относишься добросовестно, а он не понимает, чудак, что ему же хочешь как лучше чтобы, часто бывает смешно на него и до слез обидно, что он же еще и не доволен, это сразу чувствуешь. Ругается, щипать начинает, подгонять, — не дожидаться ему, видите ли, не потерпеть, пока его клизма сама собой сработает, как положено. Нет, быстрее, быстрее ему надо, ну просто эскренно, аллюр три креста! Ну и схватит тебя, конечно, ручищами своими за задницу и уже сам гоняет по своему столбу вверх-вниз, вверх-вниз, — жуткое дело! Да норовит еще поплотней на себя нашлапывать: трах! плюх! тарарах! — вот чертов кузнец, бляха-муха, совсем уж в кувалду готов тебя превратить! Ну до чего все же выносливая природа у офицера! И штык бы трехгранный уже, наверное, переломился бы, а у этого как будто пружина внутри — аж звенит! У тебя уж и ягодицы заноят, ляжку судорогой сведет, а он все машет твоей онемелой задницей вверх-вниз, все вколачивает, чудак, чертову сваю — в тебя ли, в себя ли самого, и не понять уже, башка-то давно чугунная, как медный котел, только звон в ней гудит колокольный, по всему телу девичьему дрожью отдается: бумм! бумм! трах-бумм!

Но это все еще, как говорится, цветочки, самое начало, это еще вполне терпимо. Даже очень, кстати, мирово получается, что от звона в башке обалдеешь маленько и уже начинает тебе казаться, что и час, и другой, и всю ночь сможешь теперь раскачиваться на седле, ни о чем не думая, — и пусть себе болтается без сил и без мыслей колоколом гудящая голова, пусть сколько хочет елозит

туда-сюда раскаленный поршень, продолбивший чуть не насквозь твое пустое тело, — ведь не чувствует оно уже ни боли, ни жара внутри. Вот уж и тошнота унялась, а потом, как у бегуна хорошего, и второе дыхание вдруг откроется, и тогда становится вдруг снова весело, как на качелях, — как будто проснешься заново, — и силы откуда-то придут, и, невесомая, пустая, счастливая, — прямо воздушный шарик первомайский! — летишь себе и летишь: “Да здравствует праздник трудящихся! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!..” Не замечаешь уже ни времени, ни толчков и зуда внутри, не чуя ни онемевших коленок, ни груди своей, задервенелой, сжатой, как губка, вместительными ладонями кузнеца. Скачешь себе и скачешь, качаешься и качаешься.

Но этот, внутри, как будто только и ждал, чужак, когда ты забудешься, потеряешь бдительность, глаза закроешь и так тебе хорошо, как будто и папочка жив, и никуда ты из Ленинграда не уезжала, а все летишь на карусели круг за кругом, а потом еще поведет папа кататься на пони, а если снова захочешь на карусель — пожалуйста, хоть двадцать раз, только дух захватывает и кругом идет голова от бесконечного крутого поворота, — все набок клонишься, все сдерживаешь, сжимаешь коленями бока верного Сивки-Бурки. Тут-то он вдруг и вздернется, как по тревоге, тут он и вспухнет, и взъерепенится, и вознесется, как памятник, — фон-барон-Агафон! — вот и возьми ты его, мухомора, за рупь — за двадцать, бляха-муха! Напыжится там, натужится, как будто на цыпочках подыметя, — вот зазнайка-то, единоличник! Всю его злобную ярость чувствуешь, — ну прямо гром и молнии мечет, буквально, на клочки разорвать готов любого, кто подвернется ему под горячую руку. И хозяин его, конечно, зубами как заскрипит, как затрясет головой, — все ведь ему передается, вся лютость зверская, — и такое у Сбруева станет лицо, как будто смерть к нему подступает, пробил последний час, вот-вот задергается человек — и конец.

Ну, теперь уже, раз за дело взялась, держись. Как говорится, назвался груздем — полезай в кузов, бляха-муха! Да вот он-то, наоборот, и есть этот самый груздь! Торчит! Даже в эти последние, самые трудоемкие, как говорится, минуты не раскачаться тебе как следует, не поподпрыгивать, — все ему глубже надо, все большее, как будто бы там, где твоя боль, единственная его настоящая радость зарыта. А ведь каким смиренным опять прикинется, предатель, сто́ит тебе только смекалку солдатскую проявить, улучшить моментик, когда уже, кажется, если еще хоть чуть вырастет гриб-великан, то уже разорвет тебя по всем швам, насквозь до горла проткнет и в потолок упрется, а пожалуй что, и настил бревенчатый у тебя над головой пробьет, протиснется сквозь накат и земляную насыпь наружу, да так и будет расти-вырастать до Большой Медведицы включительно, на весь мир разбухая, чтобы вдруг в один жуткий миг выметнуть в небо ночи петергофским шипучим “Самсоном” струю новых звезд — голубых, и молочно-белых, и розовых, как разведенная молоком кровь, — а не тут-то было, погоди, братец-кролик, не спеши, вот теперь-то, когда ты уж совсем на боевом взводе, — тут умелый твой, верный боевой товарищ Мухина Мария, для тебя неожиданно, изловчится вдруг, — раз! — и сожмет все внутри, как в кулаке. Вскрикнешь ты, Сбруев, замычишь, головой замотаешь, закусишь губу себе до крови, да и выгнет тебя дугой неведомая справедливая сила, мостом подымет на затылке твоём собственном и пятках, Муху в последний раз скидывая под потолок. Вскрикнешь ты от невидимой пули в живот — и пойдет долгой судорогой досылать заряд за зарядом клизма твоя-огнемет, выпуская прерывистым потоком пламени весь жар и страх, скопленный под неверным солнцем войны сибирским твоим, медвежатиной кормленным телом, исходя насмерть ревом выложенного бычины, — принятым смеющейся Мухой в детские ладошки, зажавшие тебе рот: Лукича бы святого не потревожить, в карусель-то со Сбруевым играя, в качели воскресного зоопарка, где сытые довоенные



звери еще не вспомнили, как ревел в них на воле ужас голодного небытия...

Как мертвый, почти не дыша, лежит перед развеселившейся напоследок Мухой великий Сбруев, который минуту назад готов был, чудак такой, единым залпом засеять небо новорожденными стайками созвездий, — закрыв глаза он лежит и сложив руки на груди крест-накрест, покойник буквально. Молчит. И дыханья его не слышать. И медленно утихает, вбирается внутрь ярость его замиренной плоти. Муха сидит на нем по-прежнему верхом, с любопытством наблюдая своим телом, как щекотно истекает еще сила Сбруева, и выскальзывает, и исчезает. Ей грустно и скучно, оттого что играть в карусель получилось совсем недолго. И она водит пальчиком по сухому животу богатыря, обижаясь не на него, а непонятно на кого и за что.

— Муха! — Сбруев тихонько, едва разлепляя губы. — Мушка! Ты что — и сегодня?..

— Что? Сегодня?.. А-а, ты опять про это?

Муха потягивается, зевает и, перенеся свою правую ногу над его выпуклой грудью, как над пригорком, укладывается с ним рядышком. — Да бросьте вы, товарищ старший лейтенант! Ну чего вы все копаетесь, беспокоитесь? Я что — не так что-то делала? Так скажите, прикажите, бляха-муха!

— Да все ты так, родная моя, любимая, единственная! — он вздыхает шумно, как бык. Уткнувшись носом ей в подмышку, вздыхает снова.

— Ну и хорошо! Да? — она зевает снова, со стоном, с тихой беззлобной руганью.

— Ну неужели же ты и сегодня не чувствовала ничего, Мушка? Я так старался!

— Мне хорошо было, товарищ старший лейтенант, очень весело! Честное пионерское!

— Может, я грубый, Мушка? — он кладет руку ей на грудь.

— Чудак вы, честное слово! Да вы же самый мировой, самый воспитанный кавалер, самый надежный товарищ! — успокаивает Сбруева зевающая Муха. — Только я устала. Давай спать, ага?  
— Давай. Я только немножечко еще поцелую...

И начинается. Яйца бы ему за это оторвать!

Тихо, нерешительно, виновато он тронет Мухину грудь пухлыми губами доброго человека. А у нее так и слипнутся кишки в животе, так и подскочит желудок к горлу, как будто из нее жилы тянут. Ну чего еще ему надо? Что такое обязана она чувствовать, чтобы не мучил потом, не щекотал до тошноты? В чем виновата? Или тоже больной какой? За что, боженька, ну за что?!

Влажно и жарко, страстно и слабо, злобно и нежно. В жар и в холод бросая Муху, окатывая ее изнутри мраком презрительного отвращения и согревая кожу девочки своим дыханием. Сжимая так, что ей приходится кусать губы, — и выпуская на волю ее ненависть к мужской жадной нежности, которая никогда не уравнивает мужчину с ребенком, но лишь обнажит его слабость, скрытое малодушие ничтожного существа. Ведь ему дано только брать, брать, брать, — и никакого нет толку от его горячих и горьких соков девичьему телу, — хоть ведро ты в обруч налей, хоть цистерну железнодорожную, кобель! И как до сих пор еще кошелку-то девушке не разодрали пополам — уму непостижимо! Каждую почти ночь — хватают, разрывают, чуть не растаскивают на куски — руками, губами, пальцами, собственной свинцовой тяжестью таких же, как Сбруев, всасывающихся, гложащих, вдыхающих тебя и ноздрями, и глазами, вспыхивающими в темноте, как у кота мартовского.

И что же еще-то должна я чувствовать с вами со всеми, бог — чтоб ты сдох? Какого еще рожна? Ты ведь тоже мужик, подсказал бы!.. Молчишь? Будь же ты проклят! За что бабой меня родил, девчонкой? Почему не подвесил мне между ног, как нормальному человеку, елду пудовую? Ведь у тебя их, небось, миллионы! Зачем ты мне кунку прорезал, распахнул на всю жизнь

ворота в копилку бездонную, — и хорь в нору влезет, и поросенок, — замка-то ты не навесил, забыл... Хоть бы ночь поскорее кончилась, да и вся-то жизнь! Помоги ты мне, сволочь! Хотя и не верю в тебя ни на грош, и никогда не поверю, плевать хотела я на тебя, с офицерами твоими свинцовыми!.. Еще и в губы теперь целовать лезет — тьфу, бляха-муха!

Нет, правда, одно только слово знают: дай! Уступишь, конечно, в конце концов, сломаешься: совестно, вроде, жмотничать. А потом, что характерно, кстати, почти всякий раз такой неприятный осадок: нет, все-таки надо было хоть разок принципиальность проявить! Особенно когда он еще и в губы целоваться лезет — такая гадость! В конце концов, ну невозможно же, товарищи дорогие! Почему кто-то терпеть вас обязан — еще и с губами вашими слюнявыми? Просто уверены, что ей — ну буквально с каждым целоваться необходимо с первого взгляда, эскренно, — как потаскухе какой-нибудь. По-человечески к нему отнесешься, только и всего, а он уже сразу же возомнить готов до небес: втюрилась, мол, дурочка, по уши, как кошка. Вот и зажимаешь себе рот ладонью всю дорогу. А какой другой выход? Не станешь ведь каждому доводить, от чего дети рождаются, на самом-то деле. Если бы Вальтер Иванович не объяснил заблаговременно, и сама бы до сих пор, может, не догадалась. Вот и эти чудачки все как один уверены, что поцелуи здесь вовсе ни при чем. Да и ни в каком учебнике анатомии не объясняется по-настоящему, везде для отвода глаз головастики понарисованы, миниатюрные такие, да яйцо, на манер курьего, как будто Муха не хитрее устроена, чем клуша какая-нибудь деревенская. Как же, нашли курочку Рябу, держите карман шире!

По сути дела, так и должно быть, чтобы каждая женщина только на собственном опыте могла узнать, а для мужчин — тайна. Нарочно природа придумала, чтобы все-таки не окончательно все шло по-ихнему, чтобы в конце концов от тебя самой в первую очередь зависело, будет ребенок или не будет. Порань-

ше бы вот только об этом догадаться! А то когда Вальтер Иванович предупреждал по-хорошему, ничего не поняла, дура. Только после истории с Ростиславом и научилась уму-разуму, царство ему небесное, безголовому страдальцу. Теперь, понятное дело, всякий раз опасаясь, умоляешь ударника этого, чтоб губищи свои подальше куда-нибудь убрал. Обижается, чудак, матерится, побольней укусить норовит. Он, главное, ведь как считает? Раз офицер, то тебе все можно. Ну и прет бугром, как в психическую атаку. Хорошо еще, если он товарищ серьезный, рассусоливать долго не любит, а скоренько свое офицерское дело кончил — и к сторонке. Прощай, мол, милая, мы разошлись, как в море корабли! Чтоб ни ему самому, значит, ни девушке никаких неприятностей. Но это когда он уже кадровый боевой офицер, фронтовик высшей марки, со стажем солидным, — понимает все-таки, какие на передовой условия, и что могут последовать всякие нежелательные осложнения, вплоть до строгого выговора по партийной линии, да и у нее в своем боевом коллективе. Тем более, на Первое мая Мухе была объявлена благодарность от самого командира дивизии, в грамоте так и написано: "...за образцовое выполнение воинского долга и проявленную отвагу в боях". Так что начальство ею, тьфу-тьфу, не сглазить, пока, вроде, как будто довольно, Муха на хорошем счету, в подразделении пользуется среди личного состава заслуженным авторитетом, надо дорожить, беречь репутацию. Недаром же сам Сталин сказал: береги платье снову, а честь смолоду, бляха-муха!

Но, к сожалению, еще не все у нас умеют проявлять сознательность, тем более если это не им лично надо. Когда он, к примеру, всего еще только пока что лейтенант, фактически никто и ничто, в покойники первый кандидат, да еще, не дай бог, прямо из училища с пополнением прибыл, то с таким птенцом необстрелянным хлопот не оберешься, будьте уверочки. О них, собственно говоря, и речь: положено — не положено. Весь беспорядок от них на передовой и лишние тяжелые потери, чмо болотное!

Заявится, понимаешь, Илья-Муромец, кровь с молоком, из самого сытого тыла, как вчера на свет родился, — просим любить и жаловать! Что в тактике, что в стратегии — ни уха ни рыла. Козырять только мастер да похоронки подписывать, а к личному составу подход — как у чугунного утюга, тем более к женскому персоналу — жуткое дело! Подкатился бы, как солидный выдержанный офицер, вечером, после ужина, взял бы деликатно под ручку: так, мол, и так, товарищ боец, поступило дельное предложение прогуляться в ближний лесок, за высотку, территориально тут рукой подать, вы ж в курсе, конечно. Тушеночка, между прочим, имеется, колбаска салями, — чернички поищем, бутылочку красненького раздавим на свежем воздухе, — “Абрау-Дюрсо”, исключительно тонкий букет! И не захочешь, а улыбнешься ему в ответ, — у него-то ведь вон какая улыбка, зубы так и блестят, широкие, ровные, как на подбор, причем усики такие миниатюрные, в ниточку... Сережей звали его, что ли? Витей? В данном случае разницы не играет. Смысл ведь в чем? Когда культурно приглашают, как полагается, самой даже хочется человеку приятно сделать, несмотря что, может, и не выпалась накануне из-за какого-нибудь якута лимонного, и настроения нет. Сталин-то нас учит как? Сам погибай, а товарища выручай, так ведь? Но воспитанный, кстати, кавалер, он сам же первый и проявит внимание: здорова ли, мол, да как дела? Так прямо вся и таешь от его заботливых слов, да и потом, что характерно, все с ним получается очень как-то удобно, что ли, и вовсе почти не больно. Не то что с этими, молодыми, — они только затем и являются, потрепать людям нервы до первого боя да поймать свою пулю раз навсегда. Верно про них Сталин писал: ума нет — в аптеке не купишь! Ни с того ни с сего, безо всякой предварительной договоренности, — уж какое ему там, бляха-муха, “Абрау-Дюрсо” с букетом, — вопрется вдруг, чудак, среди ночи в землянку, прямо в каске и с автоматом. Спасибо хоть не на танке! Да еще обязательно каждый раз навернется у порога об мусорное ведро,

всполошит Лукича, конечно. Муху-то из пушки не добудишься, известно. Да и Лукич, честно говоря, только матюгнется спросо-нья и храпит себе дальше в заданном направлении. Привык уже, махнул рукой на них на всех. Его, с другой стороны, тоже можно понять: сколько же из-за этих донжуанов на губе сидеть? Ведь отбою же нет, буквально! Где бы ни дислоцировалась рота, хоть на самом крайнем фланге вытянувшейся вдоль фронта дивизии, — в первый же день Муху рассекретят, своя у них, паразитов, и разведка и связь. Сперва-то Лукич на них как пес кидался, одного старлея даже прикладом оглушил как-то ночью, в прошлое лето. Теперь только обматерит очередного невежу да и натянет себе на голову шинель: я, мол, не я и землянка не моя. Или он для них нарочно и ставит ведро на ступеньку? Офицеру ведь слово скажи — в тот же день тебя на губу, а то, глядишь, и в штрафбат. А так, в темноте, и матом командира покроешь мирово, и сам неподсуден. Заодно и над Мухой подшутить лиш-ний повод: “Обратно ты, доча, по ночам колобродить повадилась, как лунатик. Ведро своротила, спать не дала старику. Уйду от тебя к Саньке Горяеву! У них верхние нары свободны вторую неделю после Сереги Высева...” Врет, трепач, никуда не денется. Но Муху, конечно, все-таки пробирает стыд за сон свой смер-тельный, за глухую проявленную нечуткость к пожилому старич-ку и командиру в одном лице. Он ведь ей уже второй год факти-чески вместо отца с матерью, — с тех пор как на волейбольной площадке подобрал Муху, уцелевшую чудом.

Как-то субботней ночью, по пьяному делу, Лукич ей целую лекцию прочитал — насчет особых Мухиных способностей к беспробудному сну и как их следует понимать в разрезе истори-ческого масштаба: “Крепкий сон пулеметчика — вернейший за-лог нашей скорой полной победы! Так что ты отсыпайся, доча, бодренно, с неколебимой верой. Во сне организм твой дитячий еще до сих пор растет, развивается, плевать ему, что война. Ведь пятнадцати даже нет тебе! Вот и летаешь чуть не каждую ночь,

сама ведь рассказывала. А это верная самая примета: расти тебе, значит, еще и расти, природа свое возьмет, ее не обманешь. Второе — запомни — у кого сон крепкий, совесть, стало быть, исключительно чистая. И благодари ты Бога, что покамест он позволяет тебе за муки твои невольные дрыхнуть хотя бы без задних ног, хоть во сне забываться начисто. Ведь коли не мучит тебя бессонница, — значит и зла за тобой не числится, нет никаких грехов, чиста. Но не гордись однако, носик-то свой курносенький в небо не задирай. Чистая совесть — отнюдь не личная твоя заслуга, но дар Божий. Сама ты здесь как бы и вовсе ни при чем, все промыслом Божиим проистекает, все мы его рабы. Прикажет Господь — и украдешь, и убьешь, и отца родного предашь. А не велено тебе пока грех на душу брать — радуйся в сердце своем и благодари неустанно Создателя. Не думай только, что ты на свете одна, такая-то. Куда меня судьба ни кидала, — повсеместно я таких чистосердечных засонь встречал во множестве. И на Севере дальнем. И в тюрьме пересыльной, в общей камере на шестьдесят душ. Рядом такой же стриженный зек всю ночь с боку на бок на нарах вертится, блох считает, не дает ему совесть покоя. А другой, вроде, и сука позорная, и на руку не чистый, рыкло, значит, даже, может, по мокрому делу сидит, — а спит как ребенок, аж светится весь святостью. Тут уж, конечно, сразу же и слепой видит: ни в чем перед Всевышним данный товарищ не виноват. И судьба, стало быть, впереди у него светлая, легкая, пусть хоть и в тюрьге всю жизнь, придурком-санитаром прихерится или там счетоводом, писарем, мало ли где найдет Господь местечко за пазухой у себя пригреть человека Божьего, — и нестрашную сам же Творец ему подберет и смерть. Или, опять же, спящего приберет, — просто дыхание выпьет, возьмет к себе чистую душу. Или же, если на фронте, пулю шальную пошлет, Искупитель наш, в мирный час после тяжкого боя, причем аккурат в сердце точь-в-точь, чтоб ни вздохнуть не успел, ни крикнуть. Так что спи себе на здоровье, не сомневайся.

Скоро тебе уж вырастать пора. Тело нагуливать, матереть. Немца сломаем — замуж тебя выдадим. За генерала с лампасами! Только и заботы тебе будет — анчоусы лопать да рыжих рожать сыновей, всем нам на радость, вечным однополчанам. Чтобы и в следующую войну, в Третью, даст Бог, мировую, а там уж, может, и в Пятую, было кому постоять за Россию, — храни ее Пречистая Дева, святую нашу шалаву. Дави, доча, ухо, отсыпайся, родная, впрок, — во славу Родины нашей и скорой победы!..”

А Муху и уговаривать не надо.





## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

*В которой Муха теперь Чайка,  
причем летает без крыльев и винта,  
под личным командованием генерала Зукова.*

Лишь головку свою забубенную на сидор жесткий уложит, калачом свернется под ватником, коленочки остренькие к животу подожмет, — сразу же закатятся в забытье синие ледяные глаза. И почти тотчас же отбывает славный боец Мухина Мария, верная маленькая жена полка, смерти своей невеста светлая, — вылетает она в ночной рейд по маршруту, проложенному генералом Зуковым и утвержденному, разумеется, в ставке Верховного Главнокомандующего, в Кремле. Не исключено, между прочим, что и Сам подпись поставил, ознакомившись с планом секретной операции “Конец Дракона”. А если он и разрабатывал? Ой, лучше не думать!

Началось это с ней в полночь, в позапрошлом году, в августе, на волейбольной площадке, когда засмеялась Муха, видя освещенную фарами генеральской “эмки” простреленную спину Севки Горяева. Она до сих пор помнит: смеялась тогда не по глупости, а от самого настоящего человеческого счастья, причем глубоко личного, — встретившись вдруг взглядом с великим человеком и вмиг поняв, что будущая ее через секунду смерть навеки сольет ее собственную солдатскую душу с его, тоже солдатской фактически, хотя как будто и генеральской. Ведь если и у него на глазах теперь слезы, то и ему не забыть вовек, как золотом оранжевым в свете фар отливает Севкина кровь на земле, — лужицей,

не впитываясь стоит, словно бы призывая пролить на эту же вытоптанную землю волейбольной площадки кровь врага, лишь она погасит, уймет и желтые блики багряного озерца, и слез багровые искры в уголках генеральских глаз, синих, как у Мухи. Она засмеялась, упала и умерла. А когда через сутки очнулась, заплакала и уснула, как будто уже спокойно, в землянке подобрившего ее Лукича, не догадывалась еще, что отныне сны ее — не просто сны, а тоже, выходит, служба, да притом еще более важная и почетная, чем наяву.

И вот уже второй год, чуть не каждую ночь, всякий раз по-прежнему, как впервые, с удивленьем и кратким страхом, поднимается невесомая бестелесная девочка Чайка, обнаженная начисто, однако почти невидимая для себя самой, а для других людей и подавно, — зыбкая, как ночное ее дыханье. Бесшумно и без усилий всплывает она над уснувшей тяжелой плотью бедной своей сестры Мухи. С благодарностью тронет Чайка прозрачными пальцами обожженные куцые ресницы храпящего сторожа своего, блаженного Лукича, погладит голубоватой ладошкой мягкое сквозное сиянье вокруг его мудрой лысины, — как на иконе, — столь яркое в ночи ее полетов, что виден каждый сучок на бревенчатой стене в изголовье святого старца. Иной раз, когда он уж больно пьян, опасается Чайка, не сгорела б в огне святости вся его голова вместе с добрыми мыслями: пламя над плешкой попыхивает лиловыми бликами, излетают из лысой макушки и буравят стену навывлет черные стрелы с багровыми вьющимися хвостами. Пожалееет его легкая летучая Чайка, и, вышнюю волей влекомая, мимо завешенного плащ-палаткой входа, отчего-то запретного для нее в ночи полетов, тихо юркнет она вслед за струйкой воздуха сквозь дырочки чугунной дверцы в жар протопленной Лукичом печурки, ни огня не боясь и не чуя, ни заботы не ведая о тайных своих путях. Через печку — так через печку, начальству-то, конечно, видней, кому как и когда соблюдать конспирацию, выходя незаметно в секретный рейд.

Под черными закопченными сводами печки — полумрак и тайна. Как в знаменитых пещерах саблинских — в поход ходили с Володей, пионерским вожатым, в первый день летних каникул сорокового года. С единственной свечкой на весь отряд, нарочно с одной, чтобы опасней было. Под своды вошли — сразу же Мухе вцепилась в волосы летучая мышь, между прочим. Все завидовали, буквально! А крошечному колготящемуся дракончику наперебой совали и сервелат, и семечки, и черные липкие дробинки паюсной противной икры: ее почему-то взрослые обожают, так, может, он взрослый? А Сенька Егоров пытался его даже крем-содой поить с чайной ложки. Мышонок отфыркивался, вертя ушастой головкой, пищал и корячился, сморщенный весь, как старичок. В круглых выпуклых глазищах летчика, влажных, как черный лед, видела Муха свое крошечное лицо, освещенное свечкой, — белые волосы и красный галстук. А Володя объяснил, что летучие мыши от света сразу слепнут, наука доказала, надо, мол, ее отпустить. “Отпустить, отпустить! — Липучкина закричала. — У него, наверное, дети!” Володя забрал ослепшего летуна и понес вглубь пещеры. Весь отряд, конечно, потянулся за ним. Тут мыши крылатые на пионеров как посыпались! Градом, буквально. Серыми стремительными комочками выносились они из мрака, и сырой воздух дрожал возле глаз полуослепшей Мухи, щекотал уши и шею. Огромные тени скакали по стенам. Кто-то выронил котомку с брякнувшей о камень кружкой, а Светка Липучкина присела на корточки и обняла Муху за коленки. Муха тогда сказала громко, чтобы не было страшно в пещере: “А у мышей летучих тоже, получается, коллективизм — вот здорово!.. И честь отряда у них на высоте — точно?” — “Молодчина ты все-таки, Мухина! — Володя крепко, по-дружески обнял ее за плечи, да еще и по шее голой погладил. — С классовых позиций на дело смотришь! Зрелость проявляешь!.. А может, кому страшно, а? Тимуровцы! Признайтесь, товарищи! За это я никого из отряда не исключу — если

честно признаетесь, конечно...” Муха дышать перестала. А Липучкина там, внизу, впилась ногтями ей в ногу и укусила за коленку. Тогда Володя вдруг — фук! — свечку потушил! Мухе представилось во мраке, что все летучие мыши пещеры сейчас же, сию минуту набросятся на нее со всех сторон, — и в волосы вцепятся, и в уши, за ноздри схватят цепкими своими крючочками на крыльях, пальчиками, коготками, остренькими бессовестными зубками, карабкаться начнут, царапаться, вгрызаться, пищать, а там и в уши ей заберутся, как есть с колючими своими, перепончатыми драконьими крыльями, — как сама она вперлась без приглашения в зловещную их пещеру с барабаном красным через плечо. Сенька Егоров уронил бутылку крем-соды, и она об камень, конечно, кокнулась, Мухе на голые ноги брызнуло щекотно, она вздрогнула вся. И горло ее как-то так, вроде, само запело вдруг во всю мочь: “Взвейтесь кострами, синие ночи!..” Все, конечно, сразу же подхватили. Не совсем, правда, сразу: “Клич пионера — всегда будь готов!” Так стояли в темноте и пели. Из пещеры на свет вышли — Володя взял Муху за плечо и сказал тихо: “Председателем отряда будешь! Товарищи, думаю, поддержат твою кандидатуру. Я к тебе, Мухина, присматриваюсь давно”. И галстук на груди ее поправил. Аккуратно так разглядел концы, плотно — как утюгом. Даже щекотно стало внутри — то ли от радости, то ли снова от страха. А может, и от стыда. Муха первая в классе стала носить лифчик и очень стеснялась своей выпятившейся вдруг груди: совершенно лишнее это, во-первых, мешает, а во-вторых, стыдно перед мальчишками, другая как будто стала, а каждому ведь не станешь доводить, что какая была, такая и осталась, никакого фактически отношения к бугоркам этим дурацким не имеет она и не собирается даже иметь — мерсите вас с кисточкой за такой подарок!..

И теперь в печурке, уменьшенная для конспирации неведомой силой по приказу генерала Зукова, проплывая над толстенными обугленными бревнами обыкновенных поленьев, над бликами и

пятнами утихающего жара, вспоминала Муха ту гордость свою, и стыд, и перепуганного мышонка с перепончатыми драконьими крыльями сказочного красивого зла, и темень нависшей пещеры, где пела, чтоб не зареветь, про костры пионерских ночей, вспоминала пламя огарка, тени на стенах. Сейчас бы, должно быть, пещера драконья показалась ей маленькой и нестрашной. А вот в печке, оказывается, так просторно, уютно, что вдруг подумаешь даже: хорошо бы пожить здесь, отдохнуть. Книжку почитать — Джека Лондона или Жюль-Верна. Света от углей будет вполне достаточно, и причем никакая бомбежка в этом железном блиндажике нипочем. Но задание прежде всего. Есть слово такое — “надо”! — слышали? Или забыла, Мухина? Давай, не дури, чудачка, успеешь еще наотдыхаться, когда доложишь, как полагается, генералу Зукову: “Ваше приказание выполнено! Красная Армия победила!..”

А пока — струясь и свиваясь с последним угарным дымком над синеющими угольками, — прямиком в дырку под сводом. И, скользнув ужом по длинной коленчатой закопченной трубе, — словно вытискиваясь наконец из последнего жесткого покрова, наколдованной шкуры лягушачьей, — вырывается Чайка в голое, распахнутое до горизонтов пространство. Редкие первые звезды глядят на Муху восхищенно, как котята. Теперь вся она — как вдох без выдоха. И не нужно прощенному сердцу дрожать и сжиматься, давая болезненную, бесталанную жизнь военному телу, — нет у нее сердца. Вот бы и наяву так, а?

Сначала низенько-низенько, над самой травой. На лету вбирая без дыханья, одним только доверием, сытный запах зрелых соцветий зверобоя, и мяты, и таволги, и чистотела, — ведь каждый цветок обращает к летучей деве свой венчик с малым сияньем радужного аромата: силой тайной своей спешит поделиться, чудак-человек, — на благо общего доброго дела. Плывет, струится, перетекает над травами лазоревое долгое облачко, — через ложбинку перед огненным рубежом, где застоялось без ветра последнее

душистое тепло минувшего дня. Не осязая без тела и кожи теплоту, дева-облачко видит в своем заколдованном сне зато все ярче текучие пятна, расходящиеся кругами волны, тонкие вьющиеся волокна запахов. Искрится на кочках пижма — россыпь медных начищенных пуговиц, рассылающих на все стороны стремительные зеленые иглы. Сияет серебристое облачко над кустом прохладных росистых ромашек. Стеной восходит вал голубого густого пламени над полянкой с высокими розовыми фонтанчиками иван-чая. Тонкая зеленоватая радуга висит над белым зонтиком сныти. Густая палевая дрема клубится над камышами мелкого болотца. И всякий всплеск легкого, бестревожного мирного света, любая слабая и мгновенная искорка малой радуги над цветами и травами отдает пролетающей деве долю своей силы, снаряжает ее на бой.

Если токи глубинных вод притягивают ее к самой земле, то различает дева сквозь глину и камни в глубине бесцветный медлительный подземный ручей — ясно слышит прохладный голубоватый звон. Извилистые ветви потока, пронся серебряный блеск между подпочвенных валунов и синих глиняных глыб, поднимаются на поверхность родниками, питая болото и речку, огибающую фронт полка с левого фланга. А глубже, сквозь каменистый пласт слежавшейся глины, едва ощутимо пробивается искрами жар земных недр. Словно бы и за глубию глубин, во веки веков не сгорая, источают багрянец и пурпур гигантские поленья в печи колдуна-великана. А может, и сам сатана раздувает костры под котлами в пещерах ада — жуткое дело! Нет, лучше не заглядывать туда. Конечно, и дьявола нет на свете, если бога не существует, но все-таки, все же, на всякий пожарный случай...

Чайка летит и видит дыханье каждого ириса на болоте, каждого серебристого колокольчика с резными фестончатыми краями, повисшего на своем тонком, как нитка, извилистом стебельке. Видит и слышит звон и шелест подземных вод, и вздохи спящих в кустах синиц, и недовольное фырканье крота, — вот шахтер

мировой, видали? — по-стахановски, в ночную смену пробивает себе новый ход из норы на поверхность, где мелкие ягоды земляники, как будто россыпь искр от потушенной папироски, — не разглядела бы Муха днем в густой траве, никогда б не нашла. Только ночью в полете и видишь, какое все на самом деле на земле яркое, изнутри светится, — разве что камни да сама земля, почва темнеют глухо, слепо и молчаливо. Осталась бы навсегда в этом прозрачном мире, среди сквозных радуг, нежных сияний, искристых бликов, — но ведь такое можно видеть и чувствовать только во сне, а днем, наяву, не положено. А с собой ведь из сна ничего не прихватишь, еще в детстве поняла. Вот и поглядываешь весь день на солнце, торопишь его к закату, чтобы скорей началась настоящая нормальная жизнь, где тебе всякий цветок рад, и почетная секретная служба...

Багровое небо на западе. Оранжевые облака — новогодних мандаринных корок гирлянды. И уже закипает, как пузырьки газированной воды, уже вот-вот развернется в ней восторг неместимой высоты. Но почему-то все же непременно каждый раз хочется пролететь напоследок перед рубежом, — то ли попрощаться со своими на всякий пожарный случай, то ли еще раз убедиться, что и вправду Чайка — невидимка, что сон ее не подведет и на этот раз, вынесет, выведет куда следует, — на прямой боевой курс. И на бреющем, как говорится, полете скользнет Чайка, едва не задевая рыхлый бруствер свежевыкопанной траншеи с пулеметными гнездами на флангах, где дежурят продрогшие от ночной росы Санька Горяев с Федором Шумским, рыжий Олежка, да Музюкин Степан Фомич, да Кольванов и Старостин, неразлучная парочка. Покуривают в рукав, булькают припасенными фляжками. У Старостина, труса известного, свет над макушкой уже такой реденький, такой тусклый и дымный, что и разглядишь-то его еле-еле. Да и то сказать, спасибо, что так-то, наполовину хотя бы жив от страха, — исключительно благодаря глотку из фляжки. Он пробку завинчивает, а свеченьице над его



пилоткой уже съезживается, тускнеет, вот-вот замрет окончательно. Недолго, видно, осталось Старостину гулять по земле, видела таких тусклых сколько раз, что у нас, что у немцев, одинаковые они — обреченные. Ишь как слетаются, откуда ни возьмись, на слабенький, жалобный свет его плоти черные змеящиеся стрелки, — в голову колют бедного, а он и не чувствует, — в макушку самую, смерти указывают цель. Ей-то, смерти-то, тоже, видно, предел свой отмерен и установлен порядок, всех и каждого подряд забирать — это какая же получится война? А Старостин уж вторую неделю мается, заметила, вот и жметесь плотней к Кольванову, а раньше за Серегой Рысевым как привязанный бегал, добился своего, паразит, навел свою смерть на приятеля. Неужели и Кольванова сдаст? То спиной норовит к спине его широкой прислониться, то приобнять его как бы в шутку. У Кольванова-то, слава богу, и над башкой чуть ли не солнце индивидуальное восходит, и все его мощное тело такой издает багряный жар, — на всю роту, небось, хватило бы, а не одного только Старостина обогреть перед смертью неминуемой. Вот так бы, наверное, и Вальтер Иванович светился, если бы жив был. И был бы он, конечно, как Кольванов, кавалер ордена Красного Знамени, а то, может, и вовсе Герой...

И, пролетая над головой Кольванова, Чайка не может сдержаться. Как бы невзначай, для самой себя незаметно, самым кончиком невидимого своего мизинца касается она упругой малиновой волны у плеча Кольванова. Легкий мгновенный ожог, как на трамплине, подбрасывает Чайку вверх. Спасибо, Вася! Извини, конечно, что без спросу. Был бы ты офицером, — знала бы, чем долг отдать твоему щедрому телу...

А вон Санька Горяев, светлячок зелененький, голову запрокинул, первые звезды считает. Глаза его не видят прозрачную вышнюю Чайку, и она, задерживаясь над ним, не старается унимать свой неслышимый хохот, — страшно глупой кажется ей знакомая физия Саньки, который не может ее, чудак, разглядеть на

расстоянии штыкового удара. Прильнув щекою к его щеке и отпрянув, Чайка по носу его щелкнет, фыркнет ему в лицо, убедившись, что глух Санька и бесчувственен к ее ласковым шалостям. Потормошит еще его за руку, дунет в ухо ему, перекувырнется в воздухе над ним и Олежкой, оставляя лазоревый искристый тающий шлейф, для них незаметный, и, окончательно разрезавсь, пролетает насквозь через их животы, сквозь высокий бруствер траншеи, — ну прямо юлой вертясь, изнемогая уже от блаженства, буквально. Свободна! Совсем, окончательно свободна! Да пошла вы все в жопу!..

Знает Чайка, что не видит еще недисциплинированных ее шуток генерал Зуков, не попала пока в поле зрения, — и не слышит он ни смеха ее беззвучного, ни ругательств, ни тайных мыслей. Хотя скоро, как только запеленгует ее в полете стальной его голос, вся она вздрогнет по стойке “смирно”, досадуя, что каблуками не щелкнуть, нет каблуков. Да что ж это все-таки за рация-то у него, бляха-муха? Без антенны даже каждый приказ слышно. И чем, кстати, сама Чайка голос его принимает в полете? Ухом? Так ведь нет же у нее ни одного хотя бы уха, товарищи!

А пока, ни стыда, ни досады не чувствуя, пролетит она, ничьей власти еще не подвластная, и над оврагом, и над речкой, и над редким березовым леском, куда ходила, вроде, позавчера “за черничкой” с каким-то длинным, как зенитка, худым и жестким, — да будто бы и не она вспоминает, как давила на голый живот пряжка его нового необмятого ремня. Нет, не с ней это было, а с той, замертво спящей в землянке Мухой, — спящей с белым бескровным лицом и вспаренным от земляной сырости телом, скрипя зубами, тяжело перемалывая заново во сне привычный морок своей неподъемной службы-дружбы.

Выше, выше! Генерал Зуков уже, наверно, настроил аппаратуру! Скорее дальше и выше — на запад! Оранжевые, с мохнатой лиловой шерстью на брюхе, там стоят облака. Неподвижные, как

аэростаты. Мягко розовый, со слабым зеленым отсветом поверху, закат не может ни сжечь их, ни прорвать. Он задыхается под ними и гаснет, затопляемый сверху сиреневым холодом августовской ночи. Но чувствует, торжествуя, Чайка, как полет ее становится ровен и неудержим. Не в одиночку бы вот летать-то, а с Вальтером Ивановичем на пару, а? Эх, бляха-муха!

Над деревней Шисяево, занятой немцами, — там еще не ждет Муху никакой смерш, а уцелевшие стекла избенок бойко посверкивают золотыми вспышками, отражая красноразнозначный закат. И трудно поверить, что в советских сознательных рубленых избах, крытых жухлою мирной дранкой, спят вперемежку с оккупированными колхозниками белобрысые долговязые гансы в белых бабьих трусиках каждый, — гогочки высшей марки! Ведь это же до какой степени последнего человеческого падения обработал безмозглый Гитлер свое здоровое ядро немецкого рабочего пролетариата — совершенно отбито у людей даже самое простое классовое чутье, напрочь, буквально! Дрыхнут без задних ног самым бессовестным образом — в двух шагах от живых строителей передового социализма. Вон старик со старухой на печурке угрелись, а эти по лавкам да на полу, — Чайке-то ведь и сквозь крышу легко смотреть, как сквозь землю. И, что характерно, ни в одном индюке белобрысом не просыпается почему-то нормальная угнетенная солидарность с передовой и поголовно почти грамотной советской деревенщиной. Ни один, буквально, не вскочит, не кинется, к чертовой матери, с такими же русскими братьями из беднейшего крестьянства брататься в темпе, пока не поздно, — ни один, даже не верится, вот до чего уже дошло! Да бляха-муха, уж давно бы на вашем фашистском месте стянула б с себя трусы, — чем не белый флаг?! — да и сдала бы свои автоматы дурацкие деду с бабкой. Кто же вам мешает, товарищи дорогие? Кто не дает инициативу разумную проявить? Да тут же, в избенке, не зажигая даже для конспирации керосиновую лампу, провернули бы на скорую руку собрание объеди-

ненной советско-фашистской партиячейки, под председательством, к примеру, той же бабульки, — коммунисты ведь вы в душе, все как один, насильно вас Гитлер оболванил и на фронт погнал, namто все про вас известно, не бойтесь. Ну и постановили бы единогласно: офицеров своих, которые особо заядлые и станут голосовать против, — тех к стенке, воздержавшихся же коллектив может взять на поруки для дальнейшего перевоспитания в духе преданности. Но это уже, правда, строго индивидуально, исключительно по желанию масс, если патронов не хватает или, может, особо сознательный был товарищ, старался себя с положительной стороны проявить с самого начала войны, агитировал против Гитлера, как полагается, а пока суд да дело, вредил своим чем мог: эшелоны там всякие с боеприпасами под откос пускал как можно чаще, склады взрывал, кошек дохлых в колодцы немецкие подбрасывал и прочее, — ведь много же сознательных коммунистов в немецкой армии, у каждого душа к настоящему делу рвется. Вот и сохранили бы жизнь некоторым из них — особо активным. Да, не откладывая это дело в долгий ящик, построил бы всех дедулька скоренько в колонну по два, парами, немец с русским, как в детском садике мальчишку с девочкой ставят обязательно, потому как веры им, сволочам, нет и надо его, гада, на прицеле держать постоянно, на всякий пожарный случай, не зря ведь Сталин сказал: “Доверяй — но проверяй!” Ну и форсированным маршем, прямиком через огороды, речку — вброд, дедульку только с бабкой взять на закорки, не забыть, чтоб не сплыли ненароком по течению, дерьмо доисторическое, — а там и до леса территориально рукой подать, а в лесу, конечно, партизаны сидят под каждым кустом, очень в пополнении нуждаются. Только агитаторов штук пять разослать по окрестным деревням — ускорить рост классового сознания и дальнейшую мобилизацию в наши стальные ряды. А лучше даже не канителиться, не рыскать по лесу полгода, пока на партизанский лагерь наткнешься. Какой из немца партизан? Ганс порядок любит, удобства, на

голодном пайке да без дела фактически почти постоянно он в партизанах долго не выдержит: то боеприпасов ему подавай, то тушенки. Не могут они как люди воевать — скромно. Нет, ты гансу сейчас же обеспечь войну мирового масштаба, не меньше, это как минимум. Ну, а раз такие настроения, взяли бы, да в первую попавшуюся часть Красной Армии всем бы миром и влились, хотя бы даже в нашу пулеметную роту, — большому кораблю большое плаванье, как Сталин писал. Приняли бы как родных, будьте уверочки! Дедушку бы сразу к награде представили, бабке — корову, конечно, хряка. Так в чем же дело? Товарищи немецкие рабочие, к вам обращаются, кажется! Спят. Да проснитесь вы, родные! Оглянитесь вокруг, бляха-муха! Неужели же вы не хотите жить зажиточно и безбедно, как наши колхозники? Ведь все дала крестьянину советская власть, все, буквально! И теленок тебе в каждой избе фактически, — вон он под лавкой соломой хрумкает, рожки выставил, — Чайке-то сквозь крышу все видно, тем более, крыша — решето. Тут же и курица тебе — прямо на ладошку, прицельно яичко положит, только руку протяни, не ленись. А у порога квасу бадья полнехонька, несмотря что не вдосталь нынче хлеба по селам, — хлебай с похмелья, да хоть купайся в нем, пускай себе пузыри, — так бы тебя, засоню, мордой-то и макнула б в бадью, чтоб раз-навсегда протрезвел, отродье драконово! Задают храпака, индюки германские, громче деда с бабушкой, — ну что ты будешь делать! Спикировать бы на них, спящих, да навести бы в деревне порядок наконец! И без вальтера любимого, даже без кулаков могла бы вполне справиться в одиночку хоть с целым взводом гансов, уж будьте уверочки! На что спорим?

Главное — вовнутрь ему забраться, гансу, — в горло, в брюхо или там в башку через ухо, — да мало ли куда! Сквозь печку-то пролетала? Факт! В дверце ведь дырочки не шире, верно? Заберешься ему в самое щекотное место, а дальше действуй по обстановке, и дело в шляпе, ваших нет, девять сбоку, как говорит-

ся. Мы ведь, Чайки-то, не лыком шиты, боеспособность наша проверенная. Опробовала как-то однажды этот способ — под хорошее настроение. Какой-то майоришка пьяный, а не то капитанчик, под боком ночью незаметно пристроился храпеть, — и не услышала, как заявился. Спала себе мирно, в одновременном стратегическом рейде при этом, — так ведь в самом начале операцию сорвал, предатель! И, главное, поперек топчана раскидал руки-ноги, с места не сдвинуть эгоиста, жуткое дело! Бескультуре только свое показывают каждый раз, сколько крови с ними попортила — это не передать! Вот и с этим тоже. Пинала, пинала его сапогом, устала, конечно, ну и задремала с досады. А как во сне взлетела опять, свободной себя почувяла, так первым делом в ноздрю его майорскую, заросшую да мохнатую, — шмыг! Продвинулась там сколько могла по пересеченной его местности, выбрала надежную укрытую позицию — практически окопчик готовый — и просто-напросто посидела там. Скромно и предельно вежливо. Под кустиком, как зайчик. Дай, мол, поинтересуюсь все-таки, как реагировать будет, если он такой козел. Разлегся, фон-барон, весь топчан занял. А ну-ка, козлик наш, поскочи! Взяла да и распрямилась там, в темноте. Сжалась — и опять распрямилась. Еще и руками помахала туда-сюда, как на физкультурном параде, бывало, эх, бляха-муха!

Что тут началось!

Фактически, если разобраться, получилась самая натуральная разведка боем — как согласно всех уставов и наставлений нам гласит. С нашей стороны задействованы самые минимальные силы, можно даже сказать — одна боевая единица. А противник в ответ вдруг обнаруживает всю свою огневую мощь, полную численность гарнизона, а также наличие боеприпасов, если грамотно провести. Так и вышло! Только Муха в ноздре физзарядку закончила, — как пошло оно грохотать да ухать, как задрожала под Мухой мать-сыра-земля майорская, как разгулялась взрывная волна, — столетние бы дубы до земли гнулись, не

то что волосики мелкотравчатые на крутых склонах ноздри. Так он, чудак, расчихался, — вся землянка тряслась, буквально, с потолка песок сыпался. Тррахх! Ва-бах! Шурум-бурах! Муха ведь и сама почихать любительница, если уж честно признаться, но такой силы чих ей пока недоступен. Лукич вскочил, в брезенте своем путается, за автомат хватается, — бомбежка, решил, обстрел. Оценил обстановку, плюнул — и дальше храпеть. А майорище-то все кроет и кроет крупнокалиберными да фугасными, — землетрясение, буквально. Как и сама-то не вылетела снарядом из ноздри его гладкоствольной? Удержалась, однако, довела свою разведку боем до полной победы: проснулся, засоня.

Из данного боевого эпизода мы какой вывод сделать обязаны? Стратегический! Ведь никаких практических усилий не применяла, просто сидела в ноздре и, наоборот, отдыхала, как полагается, а результат налицо, верно? Еще бы минут пяток — и зачихала бы человека, к чертовой матери, насмерть, жуткое дело! Причем в данном исключительном случае явно имело место очень теплое, вполне товарищеское отношение к оккупанту, просто шутки ради и для воспитания с педагогической целью, чтоб не шастал пьяный по чужим топчанам, не оккупировал территорию, а приходил бы всегда к девушке согласно организованной очереди, у Лукича записавшись на бумажку, как все, и притом в аккуратном, подтянутом офицерском виде, как полагается внимательному кавалеру и строевому командиру Красной Армии — добро пожаловать, бляха-муха! Очень характерно, что именно даже при товарищеском отношении подобный козел едва жив остался, следует подчеркнуть. Но уж с гансами-то, с настоящими отпетыми оккупантами, что в шисяевских избах дрыхнут, с ними-то, уж будьте уверочки, совсем иначе было бы Мухой поступлено, факт.

Хотя уже главное ясно: даже если одним только опробованным тактическим маневром действовать, как с тем майором, только уже на полную катушку, конечно, — сколько бы гансов за одну аналогичную ночь можно бы насмерть зачихать? Вы сами-то

посчитайте, товарищи дорогие! Вы же от этой мировой цифры захочете, хуже чем от щекотки, буквально. Если по полчаса на рыло прикидывать, как обычно. А? Семь часов фашистского сна — четырнадцать гансов, это как минимум, списываем в расход. Ведь от ноздри до ноздри территориально рукой подать, время на перелеты учитывать нет смысла. Четырнадцать итого, а? Какой же это вам Федосий Смолячков за одну ночь половину взвода уложит? А тут без винтовки воюешь, к тому же экономия боеприпасов имеет место, а это на данный момент, между прочим, самая главная задача для всех нас, как раз объявлено социалистическое соревнование и боремся всем личным составом, так как вопрос с патронами находится в стадии решения, почему и нередко перебои. Причем никого не волнует, хоть из дерьма пули лепи, когда на тебя немец прет, — прямо частная лавочка какая-то, а не армия, честное пионерское! И тут уж, конечно, на все идешь, день и ночь голову ломаешь, как бы все-таки научиться стрелять безо всяких патронов и гильз. И в этой связи хорошо бы, конечно, опыт ночных полетов распространить, чтоб не одна только Чайка имела дополнительную возможность уничтожать живую силу противника голыми руками, даже без рук вовсе (инвалиды безрукие тоже, значит, смогут), — одной сознательностью своей, как и полагается на самом деле. Вот вылетали бы по ночам в рейды по тылам врага хотя бы по взводу спящих бойцов от каждой роты, — кто не дает-то? Ведь через неделю же, буквально, вся группа армии “Центр” прекратит свое нахальное существование, потому что уничтожена будет, как класс. А через две недели мы при таких гвардейских темпах уже до Берлина доберемся, самого Гитлера хором защекочем к чертовой бабушке во все дырки, какие в наличии у него имеются, — даже и чихнуть не успеет, если организованно взяться, на счет “три”.

На сегодняшний день, — будем уж правде в глаза смотреть, пока никто не слышит, — иной возможности для скорой победы нет, учитывая дефицит боеприпасов, а также отсутствие прочных



резинок для трусов, что уже было подчеркнуто. Ну так в чем загвоздка? Неужели же трудно генералу Зукову отдать приказ? Организовали бы скоросрочные курсы эскренного обучения курсантов-заочников, Чайку можно инструктором. Сколько добровольцев будет охвачено за неделю? Умножаем четырнадцать ноздрей на тридцать курсантов, получаем более четырехсот штук на каждый взвод молодых орлов-ноздристов. Целого немецкого полка как не бывало! Причем без отрыва от собственного сна. Экономия боеприпасов раз, а во-вторых, одновременное укрепление растущей боеготовности путем глубокого освежающего отдыха: это никогда не повредит. Но если всего какой-то там взвод наших невидимых орлов запросто пускает в расход целый полк немцев, то, значит, рота — дивизию, так? А полк обученных Чайкой засонь в два счета аннулирует, например, танковую армию какого-нибудь Гудериана — тихо, скромно, экономно. А в Кремле, небось, головы ломают маршала, где взять патроны. Да вот же они, патроны ваши, товарищи красные командиры, разуйте глаза-то! Каждый боец и есть патрон фактически, если разобраться. Даже не патрон — обойма целая! Ведь семерых за ночь уложит, только дайте ему добро на взлет. Давно б уж на вашем месте подкатилась бы к генералу Зукову, в ноги бы ему бухнулась, пока не поздно: спаси ты Родину наконец, сокол наш! Ну что тебе стоит, бляха-муха!.. Поклонятся они — держи карман шире! Еще, небось, и доносы на него пишут, чудачки, за спиной шепчутся: неизвестно, мол, чем рискованная его затея с этой промокашкой кончиться может, не было бы хуже, того и гляди разжалуют, да в тюрюгу, как перед войной генералов сажали да маршалов. Трусы! Нет у вас веры в солдата ни на грош — потому и отступаем! Один генерал Зуков умеет верить как полагается. В сорок первом доказал, на волейбольной площадке. Видели бы вы тогда глаза его святые, слезы его! Да что с вами толковать, офицера вы все, а не люди! Только рядовой боец по-настоящему может оценить, проникнуться и оправдать.

И в этой связи, согласно первоочередности основного приказа, сто раз еще, конечно, обдумаешь, продолжать ли полет заданным курсом либо все же спикировать на минуточку, хоть одну деревеньку освободить для примера, — вот бы генерал Зуков и поставил у себя в командирском блокноте галочку, да и Сталину мог бы доложить: один-ноль, мол, товарищ Сталин! Сразу бы к нему другое отношение в коллективе, даже кашевар с удовольствием лишней черпак пшенки сыпанет ему в котелок. Так, может, рискнуть, задержаться в Шисяеве?

Э, нет, товарищи дорогие, так у нас с вами дело не пойдет! Вперед! Вперед и вверх! Главное надо помнить всегда: мы рождены, чтоб сказку сделать былью! Эти слова Сталина должны стать девизом каждого бойца и генерала — поголовно! Поэтому выдержка — раз, дисциплина железная — два. Иначе уже не сегодня-завтра лопнет у Сталина терпение, что второй год ерундовое поручение исполнить не можешь, — ну и пойдешь, как миленькая, под трибунал с генеральчиком своим ненаглядным на пару, бляха-муха! Так что вперед, Чайка! Вперед!..

Над широким и длинным, белым под луной, гиблым болотом, с круглыми черными “окнами” и старыми затопленными гатями, где гниют кузова увязших полуторок и торчат короткие стволы пушек-сорокопятак, брошенных выходявшими из окружения частями еще в сорок первом, — знать бы тогда окруженцам, какой суд их ждет на волейбольной площадке! В таком же, кстати, болоте подо Мгой полагалось бы теперь лежать и Мухе, — с бледным, хорошо сохранившимся в торфе, удивленным лицом. Если бы не вернувшийся за ней Севка Горяев: отстала девчонка от отряда по крупной нужде, да и оступилась с подгнившей гати в “окно”. Уже из последних сил барахталась. Захлебывалась так, что не крикнуть, только вякает, бурлит в гортани жижа торфяная, пузыри болотного газа лопаются, и как он услышал-то? Бултыхалась, разрывая ослабшими пальцами плавучие мхи, туго стрекоженная своими спущенными брюками-галифе, — еще и валь-

тер в заднем кармане ко дну тянул дополнительно, мало того что тина засасывала в глубину, жуткое дело! Уже почти вытащил ее Севка, когда спохватилась: мамочки, а штаны-то! — вся задница голая! И, конечно, обратно от него оттолкнулась: под водой хотела заправить обмундирование, как полагается. Молодая была, стыдливая — жуть! Так ведь не пустил утонуть, за волосы схватил, чудак, думала, голову оторвет, такой мировой тягач! Отвернулся хоть, правда, когда натягивала штаны, — есть все же совесть у некоторых отдельных бойцов, это вам не офицера. Подумала еще тогда: обязательно Севка скоро погибнет, хороших-то ведь всегда первыми убивают, — как полагается, в первых рядах они, себя не щадят. И надо же так совпасть: ровно всего через три денечка был Севка убит на волейбольной площадке, а Муха превратилась вдруг в Чайку. Прямо из лягушки болотной, бляха-муха! Для того, значит, и берегла тебя судьба, — для подвига, ну так и лети себе, жаба, куда приказано, без всяких самовольных рассуждений, а не виси над каждой деревней по полчаса да над всяким болотом. Не за то Севка жизнь свою молодую отдал, чтобы ты на небе ворон ловила, да выпускала мечты свои, на задании находясь. Вперед, за Севку Горяева!..

Над дальним сосновым бором и ельником, уже неразлично темнеющими внизу. Будто бы догоняя Чайку, скользнет, как челнок, через круглое Хистяй-озеро луна — и сверкнут стекла самолетных кабин на западном берегу, где у гансов аэродром. Ничего, погодите, мыши летучие, и до вас дойдут руки, некогда сейчас, пардон мадам. Каждая ведь минуточка дорога! Скорей, быстрее, на самой предельной скорости! От секундочки даже зависит ведь! Нет уж, товарищи, хватит позориться, на самом-то деле! Ведь уже сорвалась операция и в прошлую ночь, и в позапрошлую, и неделю назад, и месяц, — каждый раз с тех пор, как начались ночные полеты, ну а сегодня-то вот уж хуюшки вражеской гидре! Главное — понять, в чем тут загвоздка, не дать себя

снова облапошить. Вовремя тактику изменить — и успех операции обеспечен, Гитлер-капут.

А может быть, генерал так и задумал? Чтобы, значит, не сразу же выходить Чайке на поединок с черным драконом, а вначале приобрести достаточный стаж ночных полетов. Как летчики выражаются — налетать часы. Но сколько же можно часы эти ваши никчемные налетывать, товарищи дорогие? Одного горючего сколько изведешь! А пока с вами тут валандаешься без толку, как дерьмо в проруби, уж он-то дело свое черное делает, будьте уверочки, ведь недаром драконом назначен, бляха-муха! А между прочим, Ленинград второй год в блокаде, причем разобратся с этой позорной ситуацией раз навсегда, поставить все с головы на ноги может одна Муха, то есть, простите, Чайка, конечно, это ясно. Так сколько же можно мариновать девушку, почему такое недоверие? Так бы в глаза вам и рубанула правду-матку, не обижайтесь уж, товарищ генерал, — не проработан, мол, у вас данный вопросик, плохо, видно, разведка ваша мышшей ловит. Иначе ведь доложили бы вам лично, сколько новых фигур высшего пилотажа освоила и отработала Чайка за один только последний месяц. На все руки от скуки, как говорится.

И Чайка спокойно направляет лазоревое облачко своей нетерпеливой верности вверх, стремительно уходя в петлю Нестерова, — ни на миг стараясь при этом не потерять из виду единственный надежный ориентир — полосу заката, разделяющую огненным рубежом небо и землю. Кувырок назад, еще кувырок, еще, — всякий раз видя то ли след свой искрящийся в воздухе, то ли какой-то шлейф, очень похожий на длинные-длинные, какие всегда иметь мечтала, ноги артистки Орловой, только в данном случае голубовато-прозрачные. Они переливаются в воздухе и трепещут, как газовый невесомый шарфик. Вот с такими бы ножками и влететь ночью в форточку к Вальтеру Ивановичу!..

Знать бы только, где форточка эта зарешеченная, в окне которой из тюрем. Если жив еще он, конечно, чудак-человек. А нет,

— так ведь и перед мертвым, и под землей могла бы предстать, трупов давно перестала бояться, причем сколько раз убеждалась в своих проникающих возможностях, насквозь пролетая во сне холмики, небольшие высотки, даже каменные стены зданий в Ленинграде. Так что и в могиле его обнаружить Чайке — как раку ногу оторвать, вездесущая она во сне и броневой. Вежливенько, как в дверь класса, постучалась бы к нему в гроб. Извините, мол, Вальтер Иванович, битте-дритте, опоздала я на урок, как всегда. Кое-что сказать вам хотела, ну, например: их вайс ниht вас золь эс бедойтен... А чего это вы такой бледный, кстати? Ведь просто лица на вас нет — буквально! Ни дать ни взять, классик заправский, когда он про любовь сочиняет очередную свою “Лорелею”, чудак. Да, неважный у вас видок, прямо скажем. И в глазницах чего-то червяки вон копошатся — вместо голубеньких-то ваших, с поволокой-то, ясных-то глазок моих ненаглядных. И зубы оскалены зачем-то. Ровные зубы, широкие, — один к одному, — интересный вы были мужчина, что и говорить. Только вот черт же вас дернул “валькирией” обозвать ни с того ни с сего простую советскую школьницу. Да не обижаюсь, привыкла уж, даже нравится. Так что спасибо вам, битте-дритте. Ну, ладушки, полетела я, извините: служба. Задание мое секретное, а вы немец, за что и страдаете тут в гордом одиночестве, так что много будете знать — скоро состаритесь. Ауфвидерзейн, майне либе кнабе, мальчик мой любимый. Только вот поцелую разок на прощанье, теперь-то не страшно. Удачно очень, что губы у вас уже сгнили начисто, а то, неровен час, крота бы родила или червя от поцелуя вашего подземного, как чудачка какая-нибудь, эх, бляха-муха! Раньше, раньше надо было нам с вами целоваться, единственный мой Вальтер Иванович, — Алешке только не говорите, если там встретите где-нибудь...

Но все это, к сожалению, только пустые детские мечты. А где территориально искать его вполне возможную на сегодняшний день могилу, никому, понятно, не известно, как и положено: враг

народа и есть враг народа, собаке собачья смерть. Хотя лично Муха была уверена, что Вальтера Ивановича отпустят на следующий же день. Разберутся, что немецкий язык у него учительский, а не шпионский, и сразу отпустят. Только тогда и убедилась, что на самом деле он всегда был врагом, когда председатель колхоза на специальном собрании так всем и объявил, и сотрудник тут же сидел, правда в штатском, и когда потом он Муху допрашивал, то единственную из всех ребят похвалил, что не стала скрывать, призналась, как под влиянием учителя слушала симфонические пластинки фашистского главного композитора Вагнера, и очень тем самым помогла следствию, также облегчила его участь. Вот ведь он как всех запутал, задурил, завлек глазищами своими с поволокой. Встретила бы сейчас в небе душу его расстрелянную, — так бы ей в глаза и рубанула: как хотите, мол, вам как учителю видней, но я считаю принципиально, что так себя с девушками не ведут! Если имеете шпионское задание — имейте, никто вам не запрещает, но зачем же тогда глазами своими смотреть? Ведь до сих пор из-за вас так и живешь — глазами вашими просмотренная насквозь, даже во сне, на служебном посту!..

Она летит уже почти вровень с мохнатыми рыхлыми тучами, чувствуя бестелесным телом колкий декабрьский запах не пролитых еще дождей. Ни деревьев, ни человеческих жилищ отсюда не различить и непонятно, какая высота, — километр, два? Горящая кайма впереди очерчивает волнистый край огромной серо-синей тарелки, над которой скользит — одна посреди небес — как будто бы неподвижная Чайка. Точь-в-точь циркачка, под куполом за тросик поддепленная. Горизонт, между прочим, не приближается почему-то ни на метр. Внизу совсем уж темно, а встречного ветра почувствовать невозможно: нечем ведь, бляхмуха! Хоть бы какой-нибудь ориентирчик бы! Уж давно бы на месте генерала Зукова расставила по всему маршруту сигнальщиков с карманными фонарями — на худой-то конец. Вон у

летчиков, небось, все условия созданы: и по радио с ними связь бесперебойная, и картами у каждого планшет набит — прямо лопадется по швам! А тут мало того что без крыльев да без мотора, еще и вслепую плутай из-за них по небу, как ворона какая-нибудь дезорганизованная. Назначили Чайкой — ну так и относились бы как положено в разрезе обеспечения и прочего. А то всегда у нас так: кто-то привык на всем готовеньком, а большинству из-за них, единоличников, страдать — с одной винтовкой на троих, до сих пор как в сорок первом. Не было порядка и нет, любой скажет... Ну вот, наконец хоть огоньки какие-то на горизонте.

Полоса ночного боя приближается мгновенно, в считанные секунды, и она понимает с гордостью, что сама перекрывает километры, как снаряд из дальнобойной пушки. Проносья над огненным рубежом, Чайка успевает заметить: взрывы сами собой вырываются из-под почвы — лилово-белые, багровые, оранжевые клубящиеся розы. Гнилые розы. То ли морозом ошпаренные, то ли съеденные черной паутиной. Покажется даже вдруг, что земля вся больна широким пожаром, подспудным, тайным, и если он вырвется наружу весь разом, планета вспыхнет вмиг от горизонта до горизонта.

Миновала вот, вроде, некий широкий водоем — густой, как синька, запах воды на секунду смыл беспокойство. Может, Ладожское озеро, Чайка не ведала. Не исключено, что и вовсе море Балтийское, что летит она напрямиком на Кенигсберг или даже на самый Берлин, как уже занесло однажды в грозовую погоду, — поди разберись. Одна надежда, что генерал Зуков подаст командирский голос вовремя, как всегда. Если, конечно, не в Германию занесло, не в Америку, не в Тундру к якутам, с пятками ихними отмороженными...

Но вот над краем земли, чуть западнее заката, уползшего к северу и задвинутого тучами почти наглухо, всплывает живое марево молочного света. Край неба там слабо окрашен матовым перламутром. Как будто за горизонтом, а может быть, под землей,

расцветает огромный серебряный цветок — вот-вот распустится он, и дорастет до неба, и землю всю осенит нежным сияньем, неподвластным тьме.

Сколько раз в детстве видела купол света над черной равниной, возвращаясь от бабушки Александры в город ночным поездом с Валдая, — точно такое же сиянье, только гораздо ярче. Бывало оно похоже то на верхушку огромного воздушного шара, то на вершину снежной горы, то на белый корабль с широкими парусами.

Голубоватый, с перламутровым нежным отблеском, купол света поднимается, вырастает. Свет над городом то вспыхивает багровыми бликами, то замирает. Как будто дрожит и рвется под порывами огромного, косматого ветра ночи. Ветер тяжелый, угольно-черный. Накатывает он из глубин неба, где уже воцаряются звезды и бьет прожектором в глаза Чайке освободившаяся луна, но слишком много пустого вязкого пространства. Оно тяжело стекает на землю, наваливается на купол света, давит, вот-вот сомнет. Черный ветер мог бы, кажется, погасить на земле все огни, унести весь ее свет. Да и саму землю мог бы он сдунуть с места — сорвать глобус с оси, покатить мячиком по гиблому болоту безбрежной ночи под ребяческий хохот звезд и убойный хулиганский свист пьяной кривой луны.

В лепешку Чайка готова разбиться, но такого позорища не допустить. И справимся, будьте уверочки, даже в одиночку справимся, если никто не поможет. Вон уже можно различить над городом аэростаты ПВО и столбы молочного свеченья. Прожектора. Ну, драконья харя, держись! Как Сталин писал, молилась ли ты на ночь, Дездеморда!!!

Только сперва, конечно, домой, на Суворовский, к Люсе, — на минуточку, буквально...

“Чайка, Чайка, как слышишь меня, прием!..”

Она спотыкается в пустом небе и замирает по стойке “смирно”.



Было бы у Чайки сердце — оно бы в данный момент просто разорвалось от счастья, как лимонка какая-нибудь. И с этой точки зрения, конечно, очень удачно, что сердца как раз нет, в груди оно у Мухи спящей осталось.

Оранжевая вспышка ликующей верности взрывается в ней и далеко озаряет небо, как золотой клич пионерского горна. Лучи ее будущей славы окутывают замершую в полете Чайку, как разрыв зенитного снаряда. Тут же весь свет и нежгучий жар прозрачного огня свивается внутри нее в литое ядро новой силы, связанное нитью высокого уверенного голоса с волею командира и бога.

“Чайка, Чайка, я — Первый! Чайка, ответь Первому!..”

Голос его пронизывает ее насквозь. Как если бы отточенный штык командира мог войти в позвоночник без боли, наоборот, приятно, — долгожданный надежный остов ее беззаветной преданности и отваги. Очнувшись, она уже продолжает полет, понемногу набирая заново скорость. И звенит в ответ ведущему, рапортует голос Чайки. Он вырывается прямо из сердцевины ядра, которое заменяет ей и сердце, и все желания, и разум: “Я Чайка! Я Чайка! Первый, Первый, я Чайка! Всегда готова!..”

“Чайка, слушай приказ! К выполнению операции “Черный дракон” — приступить!..”

Командующий спокоен. Голос — ровно рокочущий, затаенно грозный. Генерал Зуков доволен, связисты сработали мирово, связь четкая. Он совершенно спокоен, абсолютно, даже страшно. Как будто не Чайке предстоит задание выполнить, рискуя, быть может, по собственной неловкости, своей драгоценной в эти минуты для Родины жизнью, а ему самому, а значит срыва быть не может.

“Чайка, Чайка! Курс — Полярная звезда! Работай спокойно, дочурка! Приготовиться!.. На старт!.. Внимание!.. Мар-р-рш!”

Со свистом и звоном несется навстречу сжатое скоростью пространство. Столбы света над Ленинградом поднимаются выше

Медведицы, выше Полярной звезды. И слышится сквозь по-  
свист скорости глухой стон давней муки и маеты — голос осаж-  
денного города. Чайка приближается к цели.

Ее втягивает черная высота, и свет остается внизу. Волны  
мрака кружат ее и подбрасывают, как в кузове грузовичка на  
ухабах. Земля видится ей то над головой, то почему-то позади.  
И снова весь Ленинград улетает вниз, и столбы прожекторов  
обращаются в желтые электрические, жирно расплывающиеся  
точки. Отсюда видно, что город покрыт прозрачным куполом  
сомкнутых радуг. Словно обняли Ленинград и слились над ним  
огромные ладони, укрывая его, как слабый огонь свечи на ветру.  
Наверное, новая секретная защита. Как шлем, покрывает город  
невидимая издали броня.

Кругами облетая высокий радужный свод невиданного храма,  
круглый, как голова Исаакиевского собора, выросшего вдруг над  
Ленинградом на десятки километров в высоту, ослепляемая рез-  
кими сполохами, искрами, стрелами лучей, Чайка наконец взмы-  
вает над самым пиком собора и камнем падает сверху на сияю-  
щий шпиль, — как будто бросает ее на верную гибель та сила,  
что вывела из спящего тела в ночной полет. Но снова с ней  
голос Его: “Чайка! Чайка! Выходим на цель! За Родину, за Ста-  
лина! Полный вперед, бляха-муха!..”

Бляха-муха! Да откуда же он словцо-то ее любимое знает?  
Вот где чудеса-то творятся, товарищи!

“Есть, бляха-муха!” — рапортует Чайка и слышит его ласко-  
вый отеческий смех, — пальцем грозит генерал, головой покачи-  
вает: все, мол, нам про тебя известно, мушка ты этакая, золотые  
люди все-таки у нас в смерше!..

Она уже давно знает, что в центре радужного купола, в сере-  
дине высокого золотого шпиля есть узкое потайное отверстие  
— сквозной ход. Миллиметра так три в диаметре. В него-то и  
нужно проскочить. Сколько раз сначала скатывалась по куполу  
со всего разгона, скользила на пузе под откос, как с ледяной

горки, — пока научилась вонзаться с первого захода, как шомпол в ствол пулемета.

Ну, товарищ генерал, на вас вся надежда, не подведите, под-  
корректируйте маленько траекторию на входе. Вот оно сейчас  
уже... Уй! Уй-юй, бляха-муха! Куда же это меня понесло-то?!  
Неужели опять?! Не надо, товарищ генерал! Я больше не буду,  
честное пионерское! Не надо, дяденька, я боюсь! Не наа-а-а-  
аааа...

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

*В которой Муха назначена временно исполнять обязанности Пресвятой Богородицы, но в результате вынуждена, к счастью, поблагодарить от души старинный дубовый диван.*

Словно внезапно повиснув на акробатском тросе, пристегнутом за невидимый пояс, она замирает над самым шпилем, не долетев до него каких-то двух метров. Грубая, настойчивая сила тянет ее назад. Чайка машет, как крыльями, невидимыми своими бессильными ручками, стремится к светящейся трубке, перехваченная посередине едва не рвущегося тела по-предательски, из-за спины. Так случилось во сне уже не раз, и она знает, что на аркан ее взяли не сверху, а на самом деле с земли, с проклятого сырого топчана в сырой землянке, где еще не проснулась, но уже стонет бедная пойманная Муха. Мгновенно сжимаясь, свиваясь вокруг ее тела, скручивается пространство небес, и кружится голова, и вот она уже камнем падает в глубину черного колодца, скользя по тесной трубе, увлекаемая петлей, перехватившей дыхание ее и волю, быстро и жутко набирая вновь человеческий свой вес. Труба резко сгибается коленом, еще колено, — и, не успев узнать и вспомнить родную печку-пещеру с погасшими уже угольками и притаившимися по углам летучими мышками, Муха вновь обретает себя на жестких досках, без дыхания, с колотящимся стиснутым сердцем. Тяжесть наваливается, гнетет, и, все еще не веря, что до цели ей снова не долететь, она открывает глаза и видит бревенчатый потолок землянки.

Неужели опять оно?! Ну да, готово дело, он уже опять тут, ну бляха-муха!

Тяжеленный, главное, как мертвец какой-нибудь раненый. Вроде, если по голосу, раз где-то все-таки виденный. А то, может, и совсем даже незнакомый аника-воин навалился уже, храпит, под резинку, в двух местах уже связанную, лезет: “Мушка, красивенькая, любимая, я же тебя так люблю, с первого взгляда можно сказать, я осторожно, немножечко, мне ребята сказали, ты добрая, всем навстречу идешь, дай мне тоже немножечко... Я ведь не как другие, я тебя правда люблю, я самую капельку, с краешку, ладно?.. Ну, Мушенька, ну не спи же! Ой, как ты оказывается, пахнешь-то вкусненько, единственная моя, самая первая, ой, резинку тебе порвал, извини, пожалуйста, я тебе другую принесу, свою отдам от трусов, сам вдену, прости, я больше не буду, я постараюсь...”

Тыфу ты, пиздюк малосольный! Какой сон досмотреть не дал! Да на тебе! На, жри, не ной только! На, на, на!.. Ой, ну да пальцами же не лазай, где не положено, не умеют еще ничего, а туда же, голец! Ему бы ночью самому себя за свайку дергать, чтоб выросла подлинней, а он в давалу лезет, как взрослый офицер! Тебе, может, еще и журло подставить? Не мужик ты, а Катя, защеканец-козел, не в кунку бы лез, а устав учил, салака-килька! Нашел себе лярву — чтоб я еще малыху всякого, маслобойщика обиженного, рукодельника, учила, как свайку заправлять да как швориться, — в лазарет катись, там тебя Светка-шмара всему и научит, у нее вечно скважину зудит, а не у меня... Куда опять в ворота полез?! Не тронь лохматушку, падло! Не можешь еще на гитаре играть — не лезь без спросу! Без тебя минжу натерли, наездники, весь котлован перекопали... Убери корягу, тебе сказано! Вот ерник какой, видали? Из молодых, да ранний! Ишь коки-то как набухли, заводной видно. Ну, ладно, уж так и быть, жарь, если сможешь... Ну, чего ты там снова копаешься, шахтер? Да не руками! Насаживай скорей! Ну! Убери грабли! Ведь щекотно же девушке, сколько раз повторять вам, чудакам! И что за манера такая у вас, у новобранцев? Вот моду взяли дурацкую — все как один! От-

вернись хоть, кавалер хренов, в нос девушке не дыши! — “Ой, я ж тебя, Мушенька, так люблю, елки-палки!”

Черта с два он тебя послушает! В раж вошел, нет на него удержу. Ну, пристроился, что ли, дослал патрон? Что ты там все ковыряешься, чудак-человек? Давай скоренько, мне еще после вас отоспаться нужно, ведь не трехжильная же! Быстрее, лейтенантик, родненький мой, как товарища тебя просят, ведь противно же мне, как ты не понимаешь... Да, поймет он, как же, держи карман шире! Или и вправду не умеет, как надо? Бойтся? Не может, что ль? Нет, просто садист какой-то, честное пионерское, хуже всякого фашиста! За каким-то хреном прижимания детские начинают, поцеловать норовит — водкой, луком, говядиной: “Я женюсь, я люблю тебя, ты мне верь! Ты ведь не трипперная, правда?” — “Правда, правда, кого хочешь спроси, не липнет ко мне ваш триппер, вся дивизия удивляется. Давай в темпе, повоенному, не задерживай! И не трави душу словами своими сюнявыми, будь мужиком...”

Губы закусишь, до крови, буквально, а он, пиявка, всосать их норовит, щеки тебе обчмокивает, пыхтит, задыхается — жуткое дело! Ты, мол, у меня первая самая, честное комсомольское, завтра полковнику рапорт подам, распишемся, как люди, Мушечка, Мухунчик, Мухулюлочка, мы с тобой не умрем, не ранимся даже, нас ни пуля, ни штык не возьмет, вот увидишь, потому что любовь, а после победы домой тебя заберу, в Кондопогу. Ты мамке моей понравилась, она слепая, каждого человека насквозь видит за версту, ее не обманешь, сразу поймет, ты не какая-нибудь, я знаю...

Вот кровопийца, а? К нему по-человечески, а он как будто не слышит! Ой, да катился бы ты в свою Кондопогу, слепую, глухую, чухонскую, век бы тебя не знать, слизняка вареного...

Это Муха еще прошлым летом с одним таким лейтенантиком Ростиславом чуть не месяц промучилась. Когда в первый заход явился, чуть не полночи ей кунку гладил да причитал. Слушала, слушала речи его психопатские, про себя матерясь и молясь хоть

какому богу иль дьяволу, чтоб заткнул, наконец, балабону пасть и увел его восвояси, — вслух ведь себе не позволишь, офицер как-никак, хоть и вчера из училища, — да и не выдержала пытки, уснула. Проснулась утром — а трусы сами натянуты обратно, причем даже и резинка связана двойным мальчишеским узлом, и надето на ней галифе. А ремень, между прочим, засупонил он, гад, так — ну не вздохнуть! И тоже в узел завязан. Только что сургучом не запечатанная Муха — как секретный пакет.

Лукичу, конечно, про этого психа сразу похвасталась, что пожениться ей предложил с первого взгляда и так ее на прощанье закупорил — чуть в штаны не наклала утром, пока развязалась, в три погубели разогнувшись, зубами узел растягивая, тот в затылке поскреб, жид хитрый, и сразу определил: “Значицца, выходит, их благородие вроде как собака на сене: сам не гам и другому не дам. Ты, дева, сразу его отшей от греха подальше и позабудь. Чтоб не лить потом слезы, не дай бог. Подобных отъявленных и заядлых пиздострададьцев пуля находит в первом же бою — это научный закон природы. Вот помянешь мое слово, гляди, не сносить головы жениху твоему”.

И точно! Ведь ну до смешного прав оказался, прохвост блаженный!

Каждый вечер, буквально, как в лесок опять под конвоем ее поведет, сразу же лейтенант Ростислав заводит свою шарманку: “Ты только, Муха, ни с кем другим теперь больше ни-ни, смотри у меня! — и по кобуре себя пощелкивает придурок. — Ты меня поняла, а? Обещаешь, родная моя?” — а сам уже кобуру расстегивает. — “Обещаю, обещаю, отстань, — Муха зевает. — А хочешь, хоть сейчас меня к елке ставь, заблаговременно. Еще и спасибо скажу. Надоели вы мне все — хуже горькой редьки. Чего пристал с ножом к горлу?” — “Нет, ты поклянись!” — и за локоть ее — цап! “Ну клянусь, е-мое! Доволен?” — пытается Муха отдернуться. Не пускает Ростислав. Пальцы — ну прямо клещи, вот паук! В сборной по волейболу играл за свою Кондо-

погу, эгоист единоличный. “Нет, Машунь, ты не так. Ты мне честное комсомольское дай!” — покраснеет весь прямо, за карман себя схватит, где комсомольский билет у сердца, как положено. У Мухи самой аж дыхание перехватит, голосок задрожит: “Я не комсомолка еще. Не успела вступить, ты же помнишь, рассказывала. Пока вместо комсомольского пионерское — хочешь? Дам. Хоть под салютом даже!” — и мороз у нее по спине! — “Ладно, давай. При наличии отсутствия гербовой, как говорится, пишут и на простой. Ну?” — “Ну дала”. — “Не жульничай! Давай как обещала — вслух и под салютом!” — и снова он за кобуру. “Честное пионерское! Всегда готова!” — звонко, как на сборе, Муха рапортует, вознося над звездой своей пилотки пятерню грязненьких пальчиков с обгрызенными под корень, лиловыми от вечерней сырости ноготками. А Ростислав от радости уж сам не свой: “Как я тебя люблю-то, Мушечка моя, это надо же!” — и опять целоваться лезет, нежности распускает свои телячьи. Хоть бы раз подумал, легко ли девушке из-за его личных эгоистских просьб коллективу себя противопоставлять. Ведь он же, фактически, способствует ее отрыву от масс! Хорошо еще, что полковник Коногон на той неделе пал смертью храбрых: шальной снаряд в штабную избу залетел ночью, они там как раз всем штабом очередной его орден обмывали, — и майор Подпругин погиб, и адъютантик Серенька Седельников, усики еще такие у него были миниатюрные, а уж улыбка... Царство небесное, знатный был наездник. Да, слышали бы они все сейчас, как Муха клялась единственному Ростиславу одному верной быть, — они бы этот вопрос без внимания не оставили, нет. А Хрюкину что сказать? Как в глаза смотреть капитану Гарцевало из запасного полка, интенданту Хвостенко? А младшему лейтенанту Удильяну? Тем более, многодетный он, шестеро парней дома, в Ташкенте, старшие на фронт рвутся, минуты нет покоя человеку, фотку показывал, как они всей семьей за столом, дынька перед каждым такая миниатюрная, — даже ведь плакал же, вот такими слези-



щами плакал, Муха собственным платком ему нос вытирала, сама удержалась еле-еле, до того он мирово песни ташкентские пел на каком-то языке таком, и все пальцы ей целовал по очереди — большой, указательный, средний, а мизинец так даже три раза подряд. Только безымянный пропустил. “Здесь ты кольцо носить, когда вырастай большой”, — сказал. Так и сказал — “вырастай”. Нацмены все почему-то добрые, их особенно жалко. Вот и жалела Удияна. Несмотря что три раза сознание под ним теряла, когда журлить принимался: уж больно у него поросенок здоровый, так и распирает тебя, по всем швам трещишь. Он потом прощенья даже просил, когда проснулся. Конечно, таких деликатных офицеров всегда простишь, если они, конечно, не якуты какие-нибудь, гордые чересчур не по чину. И ведь что характерно: ни Хвостенко, ни сам полковник Коногон, хотя и лысенький, совсем уже солидный офицер, ни тем более, Удиян, — ну хоть бы раз заикнулся кто из них про эти дурацкие клятвы и обещания. Ведь каждый, конечно, помнит, как во время Гражданской еще войны его любимая Рита ответила Павлу Корчагину, когда он тоже вот так же на свадьбе вздумал настаивать в самый разгар мировой революции: охолони, мол, Павлуня, не время теперь. А сейчас — не революция, что ли? Ведь только и начался фактически мировой-то самый пожар на весь мир! Все понимают, входят в ее положение, проявляют сознательность. Часто не беспокоят. А шоколадом Лукич так потом обжирается, что суток по трое поносом страдает, если командование полка Муху посещало, а то и по неделе, если масштаб уже дивизионный. А с Ростислава безлошадного — какой прок? Только зыркает исподлобья, следит весь день, как бы Муха, упаси бог, не улыбнулась кому-то из его боевых друзей, — всех бы со свету сжил, в штрафбат отправил, вот чудак! Интересно даже, как это может человек до такой степени себя распускать, бескультурье свое показывать, серость, — ведь в коллективе находимся день и ночь. Пионерский салют, кстати, что значит? Пять пальцев сжатых над

головой — это ведь он и есть, коллектив, его, коллектива, мнения и потребности, которые выше гораздо всех наших единоличных капризов. А этот индюк? Воображает из себя фон-барона старорежимного, — так и нашел бы себе фифу какую-нибудь маринованную в чулках фильдекосовых, она б ему поклялась, как же, держи карман шире, с каждым бы обозником ее, стерву, делил и не пикнул из-под каблука.

И потом, ведь что, главное, обидно? На вторую же ночь объяснила барашку губастому: поцелуй в губы, да всякие там кодовые слова, как то: “люблю”, “милый-родной”, “кондопога”, “мама” и прочее — только исключительно за день-два максимум до настоящего советского загса и официальной зарегистрированной свадьбы, как полагается, — чтоб с белой фатой и шампанским “брют” — знай наших, бляха-муха! Остальное — пожалуйста, сколько угодно, хоть по три раза за ночь, сама бы и научила его, сосунка, — пожалуйста, хоть ложкой хлебай, от этого, как говорится, не полнеют. Но не наоборот! Потому что целоваться в губы, то есть фактически рожать детей, будущей комсомолке полагается исключительно с одним только законным супругом, — так нас Сталин направляет: сделал дело — гуляй смело! Можно, конечно, в крайнем экскренном случае и со стопроцентным тогда уж помолвленным женихом, причем и с родителями, царство им небесное, все должно быть заранее обговорено, и кольца куплены. Правда, кольца — это уже сугубо по желанию уважаемых родителей, потому что все-таки мещанский предрассудок, комсомольцам чуждо. Но если с каждым позволять до свадьбы целоваться в губы, — это негигиенично, во-первых, для полости рта. К тому же Вальтер Иванович насчет поцелуев Мухе давно глаза раскрыл на это явление, на всю жизнь запомнила главный его урок. И поди разберись потом, от кого родила, росомаха ты неразборчивая. И вообще, не положено — и точка. Что в некоторых картинах актеры себе позволяют, так у них на то особые льготы. Тем более если учесть, что, во-первых, и детей

от такого искусственного киношного поцелуя быть не может. Иначе бы и Любовь Орлова, и все другие артистки красивые просто не успевали бы рожать, буквально, а Леониду Утесову никаких заработков не хватило бы на алименты. Поэтому давайте не будем себя с артистами смешивать: им можно, а нам — извини-подвинься, дорогой товарищ лейтенант Ростислав Овецкий! И фамилия-то у тебя какая-то недописанная — без головы как будто. Был бы ты, как и полагается, просто Советский — не рассуждал бы так с бухты-баракты: женюсь, мол, — и в Кондопогу тебя, на север, к якутам. Ты на себя-то погляди, Утесов нашелся! Тот-то на каждой репетиции, небось, целую сотню артисток перечмокает для тренировки, пока начальство ему не разрешит на саму Любовь Орлову выходить. И ведь для чего выходить? Чтобы поцеловать ее один-разъединственный разок, причем не для себя, а для зрителей, что характерно. В этом ведь вся и загвоздка, по данному-то признаку люди и делятся на хороших и плохих, — смотря для кого человек старается: для зрителей, то есть для коллектива, как артист Утесов или, к примеру, Мухина Мария всю жизнь, — или же для своего единоличного удовольствия, как в данном случае лейтенант Овецкий. И не надо, пожалуйста, путать эти две большие разницы, потому что вопрос на самом деле не личный, а политический, принципиальный. Конечно, с Утесовым, который и в жизни, наверное, высокий, интересный мужчина, причем зубы такие широкие, ровные, — с ним бы и Муха поцеловалась хоть тысячу раз, тем более если для кино экрэнно необходимо, для миллионов зрителей. То искусство, а тут жизнь, тем более война, давайте уж как-то все-таки разделять, что ли. А во-вторых, не надо, пожалуйста, путать натуральную семейную свадьбу и простую товарищескую фронтовую дружбу, когда девушка, в силу чувства долга и личной ответственности, понимает, что без этого дела офицера с ума сходят и снижают тем самым свою боеготовность, — тут уж деваться некуда. Конечно, когда только настроение есть и дождика нет,

чтобы не на сырой земле и спина в результате мокрая не была и задница тоже, — суши потом из-за них двое суток на себе, собственным теплом, до воспаления легких включительно, — жуть! Было уже, и не раз, — мерсите вас с кисточкой за такое повсеместное внимание к девушке, невзирая на погоду, кобели проклятые!

И постоянно этот Овецкий, несмотря на свою смиренную фамилию, обижался и стремился Муху воспитывать, — такой скипидарный чудак! “Я же тебя нарочно берегу, — говорит, — чтоб осложнений не было, аборт избежать, а ты не ценишь. Какая же из тебя в дальнейшем жена образуется?” Когда очень уж донимал, Муха расстегивала воротничок, разрешала поцеловать в шею. Только ровно один раз и чур не взасос. Ростислав же Овецкий прямо как обалдеет весь. Гимнастерку на ней чуть ли не рвет — грудь Мухину, хотя бы одну, из-за пазухи наружу вывернуть стремится, как козел, — вынь ему да положи! Только серость свою показывал постоянно, как и любой, конечно, неотесанный офицер. Опять, и ему тоже, приходилось терпеливо, доходчиво, как на политинформации в детском садике для отстающих придурков, в башку вдавливать, доводить до отсталого его мужского сознания самые ну ведь же понятные вещи: груди женские, голые, что правая, что левая, безразлично, обе, как согласно всех законов природы нам гласит, предназначены исключительно для ребеночка, для будущего сына или дочки, а не исключено, что и для близнецов, которые от законного какого-нибудь мужа родятся у Мухи впоследствии, после свадьбы. Потому ведь и предусмотрено именно две груди, а не одна и не шесть, как у свиноматки-рекордистки, — шестерых-то ведь разом и в мирное время не прокормить (да когда ж оно у нас и было-то, мирное, уж и забыл народ за этими всякими вашими офицерскими войнами гражданскими да испанскими, а ведь еще и финнов пришлось от границ турнуть, да заодно братьев-славян и родную свою чухну балтийскую освободить от угнетения, —

сколько в них, паразитов, вложено — не передать!). Кстати, вот оторвет тебе, скажем, миной финской или, там, бессарабской одну из грудей, — а вторая-то вот она, еще даже больше и крепче, чем та, правая, — на, сам пощупай. Понял? Вот они оба и будут всегда сыты и здоровы, близнецы-то, потому что природа заранее обо всех позаботилась на все случаи жизни. И тебе она тоже определила, мужик, кое-что от женщины получать, так что нечего из себя лишенца строить, подтянись, бляха-муха, ты ж мировой парень!

Только успокоит Муха своего ягненка Овецкого, усадит куда-нибудь под сосной, пот со лба его горящего утрет своим чистым платочком, — опять он начинает свой допрос. “А ты до меня кого любила, Мушка?” — “Да никого я не любила вообще! Рано мне, пойми: несовершеннолетняя. Вот чудак-человек!” — “Ну а это... Как его? Ну! С кем до тебя-то?” — “С кем-с кем? Ни с кем, вот с кем! Что — съел?” — “То есть как это — ни с кем? Ведь вся дивизия что говорит?” — “А ты больше их слушай, трепачей. Сказано тебе — ни с кем, значит — ни с кем! Болела ведь я! Почти полтора месяца болела”. — “Триппер?! — Овецкий белый стал, как бумага. — Трипперная, так я и знал!” — и за голову схватился. “Дурак! Сам ты трипперный! Воспаление легких обыкновенное, чуть не сдохла от укулов. А скучища в лазарете какая — жуть! В родном коллективе, конечно, совсем другое дело!” — “Постой, постой, Мушка! — лоб свой бараний трет лейтенант Овецкий. — Так ты ж, выходит, уже почти что два месяца, как девушка обратно... Уй, как я тебя люблю, Мухунчик мой! — и опять подавай ему шею, сам пуговицу расстегивает на Мухе, уже без спросу — видали нахала? — Я ж тебя до самой победы буду беречь, ты мне только верь...”

Доберется. Спас-сибо! Век бы его не знать...

А ведь предупреждал же тебя, дуру идиотскую, Вальтер Иванович! Как горох об стенку, буквально, хоть кол на голове теши!

В тот вечер пошли, как обычно, в лесок, выбрали под толстой сосной сухое местечко, сели. И вдруг Ростислав взялся Мухе стихи рассказывать наизусть, с выражением причем. И не какую-нибудь пошлятину запрещенную меццанскую, — не Есенина там матерного, кабацкого, не Северянина с хризантемой, — нет, в том-то и дело. Наоборот, грамотные, политически подкованные стихи, вполне патриотического содержания, даже странно. Он их в газете прочитал, давно еще, сам потом признался. Написано, главное, до того доходчиво, до того душевно — просто не передать до чего, жуткое дело! Жди меня, мол, и я вернусь. Только жди очень-очень, а не просто так — абы как-нибудь. Жди, мол, даже когда наводят жуткую грусть-тоску желтые почему-то там у поэта, сразу внимание обратила, химические, может, какие-нибудь, а в остальном нормальные, самые обыкновенные дожди, — льют и льют, день за днем льют и льют, — такая тоска в самом деле! Еще снега там у него метут в стихах, а потом, через некоторое время, уже жара стоит, — резкий переход погоды на противоположную, духота — не продохнуть, Ташкент, буквально. И основное, что Ростислав и голосом подчеркивал, и взглядом многозначительным, — это жди, мол, меня даже тогда, когда других не ждут уже давно. Вот эгоист, а? Жалко, фамилию не запомнила, какому поэту сочинить все это Сталин поручил. А то бы непременно послала кудрявому автору привет с фронта. Так бы и написала, как Сталин нас учит: любите книгу — источник знаний! Завязалась бы сразу же оживленная переписка. И поэту, крысе тыловой, все же лестно, что с самой передовой позиции ему девушка пишет светловолосая при свете коптилки, и в роте бы ребята посмеялись над его дурацкими влюбленными посланиями, на ста страницах каждое, причем сплошь стихами, конечно. В ответ бы, конечно, всей ротой ему сочинили такие стихи, каких ему самому ни в жизнь не придумать: шпарь себе, мол, с милой в ногу прямо к маме, в Кондопогу... Но в ту минуту, когда лейтенант Ростислав как раз самую ревнивую строчку говорил, —

пускай, мол, других не ждут, а ты меня все-таки смотри, курва такая, жди! — она вдруг увидела, что его скоро убьют, и чуть не заплакала. Сперва-то, правда, подумала — от придури это, от стишков, от выразительного вдохновения и порыва высокого вверх. Дело в том, что голова Ростислава в воздух подпрыгнула. Его собственная, причем, голова.

Муха тихонечко в кулачок хмыкнула, — чтобы настроение человеку не портить, не сбивать с радостного восторга. А она-то, башка-то его садовая, как подлетела, так в воздухе и висит, висит и твердит: жди меня, жди меня, жди меня, — жуть! Сантиметров десять над плечами. А может и восемь. Ну уж ладонь-то просунется вполне. Даже с запасом. Ночной мотылек, между прочим, ему туда пролетел — серенький — между плечами и шеей насквозь, Муха себе рот зажала, чтобы не заорать со страху. Живой мотылек! Толстопузенький такой, медлительный, из однодневок бессмысленных, которые так любят летом об лампочку Ильича биться с разгону — до смерти включительно. Причем гарантировано, что в данный момент не спала, абсолютно точно, сам Ростислав подтвердил бы, если б все же в результате при голове остался. По какой же причине виденье такое имело место? Ненаучный какой-то проявился у природы подход к человеку, к тому же и вспоминать страшно: оторванная живая голова висит над плечами законного своего хозяина и повторяет сама собой: жди меня, жди меня... Ну, бляха-муха!

А он, чудак, чешет себе и чешет — как по писанному, — на небо, на звезды глядя, погожий сначала был вечер, как назло, ни тучки в небе, — пусть поверят сын и мать в то, что нет меня, пусть, мол, друзья напиваются на поминках, как положено, а ты все ж не пей, соблюдай себя, чтоб не зря мне за тебя тут кровь свою мешками лить, — обычная, в общем, его песенка. А потом и голова его обратно, на родные свои плечи к Ростиславу уселась. Без швов даже срослась — это надо же! Ведь сама проверяла потом, и пальцами, и глазами вся так и всматривалась. Когда он

опять шею вытягивал от высоких неземных чувств. Очень он все же за Муху опасался, что не выдержит она давления масс, уступит какому-нибудь майору с кобурой. А при этом сам на нее, на Мухуюлочку свою, ремнем перетянутую, — ну совершенно ноль внимания, как будто и не к ней лично со стихами обращается. Обидно, конечно. У Мухи-то ведь так и стояла перед глазами с той минуты оторванная голова. Догадалась сразу же: недолго осталось Ростиславу трепать нервы девушкам, сочтены его денечки, раз такое видение с ней приключилось. Не в первый уж раз у нее подобное предвиденье будущих неприятностей. А если так, то тем более. Последние дни по земле человек ходит, — мог бы и побольше уделить внимания барышне.

И вдруг он ей говорит, Ростислав: “Как будто про нас с тобой персонально данный стих написан, а?” — “Как это?” — решила, что подначивает ее Овецкий. Нет, он — всерьез: “Да ждате же! В смысле, что ждате следует друг дружку всю войну, тогда и не убьют. Это ведь про нас с тобой. Чувствуешь, Мария?” — “Я считаю, что ты не прав, — Муха ему возражает резко. — Там у них совершенно другая история. Он на фронте, якобы, а она сидит в тылу, где-нибудь в Ташкенте, дынями объедается от безделья. И все офицера, тыловые крысы, там с усиками миниатюрными, поголовно весь гарнизон ташкентский, потому что по национальности будут самые отъявленные нацмены. Интересные такие мужчины, кадровые военные, и зубы от этих дынь белые, исключительно ровные, за улыбку все отдашь, буквально. Ну и все они, конечно, ходят за ней табуном, понятно: хорошенькая молоденькая блондиночка, причем миниатюрная такая, даже на Любовь Орлову смахивает, особенно если в гражданский хотя бы ватник переодеть. Вот он и переживает, ясно. Ну и предупредить хочет, по-хорошему пока что, несмотря что всего-то навсего пока лейтенант безусый. Никто и ничто фактически, даже и не из Ташкента сам, а откуда-то с севера родом. Но при этом не дурак, все-таки понимает: шансов у него почти ноль целых, ноль



десятих, а уж про сотые-то и подавно говорить стыдно. Вот от бессилия своего и грозит девушке любимой: если, мол, падла, с ними что себе позволишь, то я, как вернусь с войны калеккой, пускай даже если без рук, без ног, все равно, — спуску тебе не дам и пощады не будет, учти, шаланда вихлявая! Но ей-то, в сущности, конечно, наплевать, она от него за тыщу верст территориально, может, даже не в Ташкенте, а в самом Ашхабаде непосредственно, — там ведь все главные, наиболее крупные классики в эвакуации прохлаждаются, также артисты, ученые всякие в пенсне, паек литерный жрут и не подавятся, пока ты здесь за них вшей кормишь белым девичьим телом. Ну и жены поэтов самые заядлые там же, в Ашхабаде. По должности так и назначены: музы высшей марки. Они там сейчас такую музыку крутят — пыль столбом! Покуда мужья с фронтов письма им пишут: жди, жди, жди... А при чем же тут мы-то с тобой, Овецкий, друг ты мой незабвенный! Ты глаза-то разуй! Мы-то с тобой ведь пока рядом же, так?» — «И рядом, — он говорит, — и за тыщу верст! Даже хуже! Все у тебя, Муха, усики какие-то на уме. Миниатюрные. Тьфу!.. Мне до тебя, Мушунь, не дотянуться — как вон до луны!»

Он протянул руку в небо и хватанул пустой воздух — как будто луну хотел хапнуть, чудак. Засмеялся — криво, кисло и горько.

У Мухи же от обиды так прямо все и подскочило в животе — к самому горлу, буквально, аж задохнулась, слова не вымолвить. Видали его? Кровь пьет, гад! Издевается, нытик, гогочка, с музыкальной школы маменькин сынок! Каждый день девушку попрекает за какие-то никому не известные измены, хотя и сказано было ему, кровососу, что не любила никого в жизни и любить не собиралась, — чего же еще-то им надо, кобелям? Нынче-то ладно, а вчера так прямо с ножом к горлу пристал: признавайся, мол, что не хотела ты с ними, что заставляли тебя, положением своим пользовались, принуждали. Я, мол, не зря на

юридическом учился два года, я все законы знаю, я на них, мол, управу найду! Вот ведь провокатор, а? Одного добивается, как диверсант. Только того ему и надо, чтобы Муха не выдержала, друзей своих боевых предала, оклеветала в доску, — под трибунал за насилие ни с того ни с сего подвести мировых таких офицеров, опозорить на всю жизнь — это же кому сказать! Со всем опупел Ростислав от ревности, Родину предать готов. Правильно Сталин подчеркивал: болтун — находка для врага! А этот не только зарাপортовался вконец, еще и слезы размазывает, всхлипывает, в глаза не смотрит, а все твердит и твердит свое, козел настырный: “Не будешь ты больше под ними распинаться, не допущу, не отдам тебя, ты — чистая самая, ты — моя единственная, ты самая лучшая, не могу я допустить, чтобы тебя каждый использовал, как подстилку, вырву тебя из этой грязи, увезу, в другую часть переведемся, беременной тебя сделаю, вообще тебя демобилизуют, потому что сердце ты мне разрываешь, не могу видеть унижения твоего...” Тут ему Муха и влепила пощечину, как и полагается за подобные ругательства. Да не просто так влепила, а с радостью, с удовольствием. Хлестанула наотмашь — и засмеялась. Потому что и Вальтера Ивановича, конечно, вспомнила сразу, — и отхлынула от сердца вся грязь его поганых предательских слов, порочащих сразу всю Красную Армию, поголовно. Но ведь ягненок — он ягненок и есть, даже бить его почти без толку, настоящего проку от такого битья нет. Он просто взял молча руку Мухину, мокрую после пощечины, после щеки его собственной, от слез мокрой, да и поцеловал. В благодарность, что ли? Тогда за что? Или просто прощенья просил за свои глупые и злые слова, ведь и взаправду из-за него как-то не по себе стало Мухе, потому ведь и звездарезнула ему по хारे, если честно-то. Ведь все что угодно можно терпеть, пока знаешь, что ты права, а уж виноватой-то быть — мерсите вас с кисточкой от такого позорища. Ведь как тогда жить, если на самом деле виновата? Ведь это, значит, каждый над тобой посмеяться

может, над виноватой, так? Над такой-то миниатюрной блондиночкой? Да вы с ума сошли, граждане! Все что угодно, только не это! Ну и влепила ему, конечно. И сразу же губы его теплые ладонью своей холодной почувяла — поцелуй. Дурацкий поцелуй — овецкий. Ничего Ростислав не сказал, улыбнулся только. Осознал, значит, все-таки свои ошибки и политическую близорукую незрелость, шаткость исходных позиций. Не до конца, значит, все-таки гнилая у человека натура, есть надежда на исправление; — так Муха вчера подумала. Это уже когда он сказал тихонько: “Извини!” — и поцеловал ей руку опять. Ту же самую руку, мокрую. И ушел.

А сегодня опять, выходит, запел свою песенку. Может и вправду он диверсант? Ведь сколько угодно случаев! Чуть не каждый день сигналы поступают, бляха-муха! Сталин-то, уж будьте увереночки, как следует головой подумал, когда свои замечательные слова написал, потому они и стали девизом каждого, поголовно: враг не дремлет! И если бы Ростислав все же не засыпал обычно к концу ночи, перед рассветом, часика на полтора, так бы про него и решила сразу: подосланный, задание особое — подрывать боеспособность изнутри, по-подлому. Но вот задремлет он у Мухи на груди — и засмотрится на красавца девочка: интересный высокий офицер, и зубы, причем, белые, ровные, — русский, вроде, не ганс. И фамилия советская почти что. Нет, ну это же до какой степени последнего человеческого падения надо дойти морально, чтобы так бессовестно по наклонной плоскости катиться. Работать на врага открыто и нагло, избрав для успешного проведения своей диверсии самое уязвимое место в наших стальных рядах — резинку от трусов! Тут уже сразу ясно, у такого потерянного человека за душой ничего святого нет, кроме черной вражеской злобы и мерзкого задания наносить девушкам как можно чаще поцелуй в губы. Придется, значит, идти к смершевцам, докладывать, как положено: так, мол, и так, затесался в наши ряды переодетый в своем беспредельном коварстве враг.

Когда в прошлом году на капитана Баранчикова рапорт написала, в связи с подобными же его недопустимыми высказываниями в адрес офицерского персонала, как ни странно, — бедная ты, мол, несчастная, потаскушка из тебя сотворили себе командиры, игрушку бесплатную, — так никто ведь и не уточнял про него подробности, смерш все понимает с полуслова. В ту же ночь приехали. Вломились в землянку конспиративно, без стука, Лукич даже и не проснулся, и сняли чудака Баранчикова прямо с Мухи. Так в одних подштанниках и увезли. Он, бедный, подштанникито никогда не снимал, лапочка такая, радикулит свой окопный берег, простудить лишний раз боялся, эгоист, почему его Муха и жалела всегда, обязательно вздыхала. Когда очень уж стонал, как задергается под конеџ весь его организм, включительно с радикулитной поясницей, и частенько делала потом хорошему человеку полный фронтальный массаж всей его левой ягодицы — сам же и научил. По рецепту его собственной бывшей жены, ее в ленинградской блокаде бомбой убило вместе с детьми. А теперь спрашивается: кто ж ему, больному-то человеку, массаж сделает — ласковой девичьей рукой-то? Вот ведь как в жизни обернуться может — из-за собственных же дурацких слов, — это следует подчеркнуть. В подштанниках теперь так где-нибудь и воюет, уже рядовым штрафбата. А может, уже и вылечила ему радикулит навсегда пуля — немецкая ли, своя ли — какая разница! Главное, в самом начале ночи его забрали, Мухе заодно и выспаться удалось. Так что два, получается, добрых дела сделала, двух зайцев убила разом. Все по-справедливому, по-честному. Сталин-то как сказал раз-навсегда? Как раз им-то и сказал, нытикам подобным гнилым, предателям, которые наши принципы и фронтовую дружбу, кровью омытую, почему-то стремятся до сих пор расшатать. Так и сказал он им всем: “Не ешь кошку на Рождество, не погань праздник!” В пословицу даже вошло у народа, потому что уж слишком крылатое выражение, прямо не в бровь, а в глаз!

Так и прикидывала про себя Муха, какой у него будет видок, у Ростислава, с мокрыми его щеками, когда два дюжих смерша выйдут сейчас из-за той вон толстой елки разлапистой да и скрутят ему руки назад, — это тебе не у маменьки в Кондопоге морошку моченую лопать с блинами, вслепую-то недожаренными да подгорелыми. А Муха ему еще и перцу на хвост, как говорится: “Не ешь кошку на Рождество!..” Жаль только, на этот раз барашек-то не в подштанниках, а по форме одетый, в погонах даже, как заправский офицер. Глаза б на него не глядели, на ревнивое такое Отелло! Вот ведь за горло схватил — напроочь свободы лишить хочет, в единоличное пользование забрать, превратить активистку в свою индивидуальную овцу, бляха-муха!

Муха вдруг обняла его голову, пока что еще, слава богу, к плечам крепко привинченную, да и поцеловала ее, дуру предательскую, прямо в губы. Еще и укусила при этом — чтоб знал!

Отскочила, конечно, сразу же. Стыдно стало ей — жуть! Первый раз в жизни ведь! Провалиться бы! Главное, неожиданно, без предупреждения оно вышло, как будто и не она сама это сделала, а изнутри ее кто-то подтолкнул, — разыграл исподтишка. Со всем уже до ручки дошла из-за стихов каких-то ташкентских, из-за газеты бумажной. Да ей же цена — подтереться! Эх, бляха-муха!..

А Ростислав — вот удивительно! — даже как будто и не заметил поцелуя. Когда Муха от него отпрянула и за сосну спряталась, — одним глазом только наблюдение вела за Овецким, — он лишь башкой своей, на ниточке уже фактически висящей, потряс, как спросонья, — и дальше давай стихи наизусть шпарить. Да все одно и то же, одно и то же, заладила сорока: жди, жди, жди... Причем глядит не на Муху, наоборот — на луну. Астроном Склифосовский! Муха фыркнула и тоже, конечно, на луну уставилась.

А луна-то на тот момент времени в аккурат выказалась из-под дурацких своих черных туч — белая, как мишень в тире. Как

будто бы из глубины черной пещеры выход светит, освещает нависшие своды. Вот плутала ты, будто, плутала по лабиринтам, с огарком свечи малюсеньким, спотыкалась о камни, от мышей летучих шарахалась, чудачка, натыкалась на острые углы, а выход-то вон он, рядом был всегда, не за тем поворотом искала. Ну так беги же к нему. Лети! Ведь ты умеешь, ничего тебе и не стоит, только закрыть глаза — и там, на свободе, там сияет для тебя белый-белый день, чистый снег, ясное зимнее солнышко, — и белым-бело вокруг, свет праздника, Новый год, наверное, мандарины на елке, и мама рядом, и папочка, и Люся, конечно, у себя в уголке тоже тихонько радуется упругому мандарину маленькому, — лети же, Муха, ведь не только же во сне ты Чайка, верно? Что не слышно приказа? Дайте добро, товарищ генерал! Где вы там? Ведь и ради простой человеческой жизни тоже можно, наверное, немножко полетать, если, тем более, службе-то не в убыток, военной-то тайне не в ущерб, так ведь?

Молчание.

Свет луны — до рези в глазах, до звона. И уже наплывают, накрывают ее белый край тучи, заваливают узкий выход. Ну? Ну же! Мы и в щелку протиснемся, только б успеть. Мы ненадолго, на три минутки, буквально. Только туда — и сразу же обратно. Ведь не сегодня-завтра в рай Ростиславу отбывать, оттуда уж не вернется. Вот и была б о нем добрая память — совместный мирный полет, три минутки без всякой войны, без губ слюнявых, без дрожи трусливой и правильных стихов, — просто вырвались бы вдвоем, надышались хоть раз тем чистым светом, в один бы вздох оба его вдохнули, — пусть потом хоть под пули, хоть под бомбу одну на двоих. Ведь что здесь-то хорошего, по эту-то сторону? Как же тут можно кого-то любить по-настоящему — на войне, во лжи вечной, где ни один человек другому не верит и уже привык, иной жизни не знает... Нет, все лучшее — там, только там собрано, во сне, где цветы поют... Ну? Что вам, жалко, что ли, товарищ генерал? А?

Тучи луну засыпали, подмяли, завалили глыбами назема. Умолк свет.

И так обидно Мухе, еще обидней стало, что Ростислав на нее не обращает внимания. Что в последние свои денечки мимо глядит и даже поцелуя не заметил, хотя столько дней сам же добивался и клячил.

И она снова поцеловала его, чудака, в губы. И почувствовала: оборвалось сердце и задрожало на ниточке последней. А луна снова ослепила ее до слез — опрокинул ее Ростислав — и свет пошел в нее и пронзил, и ударил внутри колокол — как из пушки. Она не могла шевельнуться. Губы его пили гул ее колокола тайного — удар за ударом, — и смешивалось у нее в груди биенье двух жизней, и луна стала уже теплой, как молоко в стакане, парное. Муха услышала, как внутри нее кто-то сказал: “Ну все, бляха-муха!..”

— А ты боялась! — сказал Ростислав, помогая ей подняться с земли. — Я же говорил, я всегда умею собой владеть. Вот и поцеловались, видишь? Теперь ты — моя невеста, луна свидетель...

Так и не расстегнул он ее ремень в тот вечер. А ведь мог бы! Сама бы и рассупонила, только бы дал понять. Не дал — баран!

Уже вторую неделю, с той первой с ним ночи, когда Муха произвела Ростислава юного в мужики, а потом проснулась с талией уже как бы старорежимной, до того яростно перетянутой праведною десницей своего хранителя, ремень сей брючный, брезентовый, для него самого оставался свято неприкосновенным. В землянку к Мухе лейтенант не Советский являться принципиально избегал. Чинно приглашал возлюбленную на прогулку в лес, как правило после ужина, и под сенью деревьев, взяв ее деликатно под ручку, пламенно и вольно набрасывал перед невестой стратегически обеспеченные планы мирного и плодотворного их супружества в уютном пятистенке на окраине Кондопоги, изо-

бильной грибами, морошкой, клюквой, пушным зверем и рыбою красной. Окнами на озеро Онего! С геранью на подоконнике и пятью пуховыми, мамашей вслепую от души взбитыми мировыми подушками в изголовье высокой кровати со специальной резной скамеечкой — лестницей для беспрепятственного вскарабкивания юной жены на бездонную, легчайшего лебяжьего пуха перину — вместо жесткого топчана. Муха сначала хмыкала. Потом заскучала. А там и привыкла, вошла во вкус и стала с жаром, перенятым у безумствующего в добровольном монашестве барашка, возражать ему при обсуждении художественных деталей кружевного узора на грядущих салфетках, полотенцах и простынях, а также скорых и неизбежных чепчиках двух румяных, ядерных, как боровички, близнецов, отменным славящихся аппетитом. На единственного потомка Ростислав не соглашался ни в какую, вдохновленный, видимо, Мухой же и измышленным виденьем двуполногрудой своей мадонны и до обморока полнокровно представляя себя обоими сладострастными сосунками разом.

С Мухой же стало твориться и вовсе непостижимое. Однажды перед сном она вдруг заколотила вход в землянку двумя досками крест-накрест. В ту же ночь, взлетев с небывалой скоростью, Муха сразу же обнаружила под собой маленький незнакомый городок на берегу огромного озера — Ладожского, должно быть. Бревенчатые двухэтажные бараки, высокие пятистенки, куцые жалкенькие избенки старорежимной еще нищеты. Горели кое-где на улицах и у вокзала тусклые фонари, и она разглядела приземистых битюгов, запряженных в зеленые фургоны с надписью “Хлеб”, в которых возили раненых от железнодорожной станции до госпиталя. Ну и решила, что занесло ее каким-то духом в один из ладожских пригородов все того же Ленинграда, потому что генерал Зуков все же вот не успел настроить аппаратуру вовремя: до сих пор ни одной команды не подал, хотя обычно встречает Чайку своим бодрым и добрым голосом еще на подступах к городу, километров за пятьдесят-шестьдесят.



Тут и запела она, запричитала на все поднебесье генеральским своим простуженным басом — свекровушка будущая онежская, Овецкая Домна Дормидонтовна, собственной своей кондопожской, в пуховых перинах нежась, небось, в данный момент, персною стопудовой:

“Ой, да уж не чаяла, сподоблюсь ли, на тебя ль, касатка, налюбуюся! Уж ты семужка нежна беломорская, чайка бела ты, вострокрыла да вкрадчива, невестушка мила, блядюшка ты наша летучая, еж твою, штрихер-михер! Не попрекни, ты, лебедушка, мать-старуху словцом! Поздравлять тебя станем венцом — честным пирком да за свадебку! Ой да...”

“Чайка! Я Чайка! — перебила охрипшего вдруг генерала Зукова обрадованная наконец, успокоенная генеральским все же, командным гласом да нежданнами его шутками невидимая дева. — Товарищ Первый! Где я?! Дайте ориентир! ”

“Даю. Даю притир тебе, дитятко! — застонал вновь генерал, выгрохатывая с раздирающими небо раскатами небывалые для него былинные причитанья. — Ой да поспешай-торопися, девонька! Лети к матке новой своей да ласковой, сиротка моя — малолеточка! Кончилась в добрый час служба твоя солдатская, мошка наша ты, марушка-рыбинка! Хватит лямку тянуть, малыга-крошечка. Пусть одна их Светка-сучка отоваривает, ей-то, ляreve, хоть бы хны, паханке-скважине, шаболда с таким фуфлом не окочурится, шалашовке старой поц-то в удовольствие, не устанет, шмара, феню разворачивать, заманиха, парафинщица позорная, — вот попух бы мой сапог-то Ростиславушко, как бы не ты ему, а Светка подвернулася!.. Ты марушка уж моя да гумозница, позабудь ты генерала кровожадного! Ишь он, фря, забыл, паскуда, змей, стукач худой, как у нас на поселухе стал обиженным? И полсрока-то, ракло, не сдюжил, ссучился, в козлодерке жил отдельной за бараками, Катей был, козел, кобылой, маргариткою, — погоди, вот зададим мы ему феферу! Ты лети ко мамке, чаюшка, доченька, отдохни на перинах пуховых, преклони головушку са-

довую, уж ты сявочка моя да мягкотелая! Уж я дров наколю да березовых! Уж я баньку истоплю да по-черному! Уж я веничек-то выберу побряжистей! Отхлещу невестушку по-нашему, похмелиться дам водичкой сумасшедшею, окачу из шайки тебя ласенько, — тело грешное с душою непорочною, — простынями льняными укутаю! Медом ярим напитая тело белое, срам да грязь из касатушки выпарю! Из блядей-то ведь и жены само верняя! Загляденье будет сыну невестушка — побелей калачика крупичатого. Ты лети, прилетай ко мне, лебедушка, ко свекрови своей да во родимый дом!..”

“Есть — во родимый дом!” — откликнулась Чайка, пожав своими невидимыми плечами. Она уже запеленговала по бурным рокочущим волнам генеральского баса, замаскировавшегося почему-то под солистку самодеятельного хора кондопожского дома культуры Домну Дормидонтовну, чье редкостное искусство народных заплачек и причитаний было известно Мухе по рассказам Ростислава, — засекала Чайка сразу, что волна растекавшейся по небу напраслины на генерала и славословья ей, грешной, выхлестывалась, как из жерла вулкана, из трубы аккуратной высокой избы в конце широкой улицы, над самым берегом озера. Все как описывал Ростислав: дощатые тротуары и безбрежная лужа посередине улицы. И, конечно, герань на подоконниках. Для чего, однако, понадобилось генералу Зукову такое чудачество — переносить свой командный пункт в Кондопогу? И зачем себя ругать? Причем именно из Кондопоги? Или тут какой-то шифр заложен? А может быть, он и раньше отсюда вел ее полеты, а сегодня решил вызвать к себе непосредственно? В чем виновата? Или, может, за Ростислава? Так ничего, вроде, и не было такого уж... А если, наоборот, наградить желает? Ну да, конечно, наградить, ясно же! Ведь сколько уже отслужено ночей — без единственного даже почти нарушения маршрута, в первый раз вот, можно сказать, занесло на север, да сам, к тому же, и вызвал, если разобраться...

“Чайка, Чайка, я Первый! — услышала она вдруг как бы издалека его несравненный голос. — Внимание, Чайка! Враг готовит провокацию! Будь начеку!..”

Она споткнулась в небе и стала как вкопанная. Что ж это творится-то, товарищи? Ой, да что ль, никак, и вправду заблудилась?

“Внимание, Чайка! Возможна провокация!” — донеслось снова.

“Я те, падла, дам коровокацию! — рыгнуло в ответ. — Ишь ты, фрукт какой, стукач, обратно капает! Думаешь, сдрейфит девка? Врешь, молодка выдюжит!..”

Пуская по небу мутную волну угрозы и обдавая растерявшуюся Чайку жаром стыда, выпузыривался лавой тяжкий, все же, стало быть, свекровин голос-бас из кирпичной трубы пятистенка с геранями в окнах:

— Я те дам девке моей башку дурить! Умный нашелся тут — бес! Ну-ко, дай мне твоего ума — подошву помазать! И ручищи-то у него — гляньте-кось, бабы — по локоть в кровушке русской! Сколь ты наших мальцов загубил, клец, за свои ордена, за брякалки? Сколько душ христианских запакостил! И в аду не получишь прощения, враг народа ты, сука позорная!.. А ты, дева, не слушай его, жоха, ломом перепоясанного. Нырять духом ко мне под крылышко. А мы его на чисту водицу выведем, погоди! Ишь, бельма-то налил бесстыжие, насосался народной кровушки, — хоть слепая, а вижу я. Знаю, знаю твои подвиги геройские, вспомни ты, палач, площадку волейбольную, ну-тка! Нет тебе ни веры, ни прощения!..

— Ат-ставить! — голос генерала Зукова визганул как по стеклу гвоздем. — Чайка, слушай мою команду!

Чайка уже не понимала, кого она слышит и кого ей в данной ситуации слышать следует.

— Брось, забудь его, дракона, девонька! — перекрывая, смывал далекого генерала приказ могучей свекрови. — Знает, знает кон-

допожская зечатина твоего генерала как облупленного. На шестой командировке дуrolомной за растрату сидел, захребетник твой. Петухом был у воров, придурок пазорный, проиграл ворам корму свою раскормленную, — вот теперь он и лютует, вот и празднует свою месть всему народу, тварь бездушная!.. Не слушай худого человека, дочка! И никакая ты больше не чайка ему, просто девочка кондопожская, ягодка наша сладкая, иди к мамке, ну?..

— Чайка! Чайка! — надрывался вдали где-то, словно бы ветром уносимый голос генерала.

— Я те дам чайку! И слов-то твоих поганных никогда она больше не услышит... На-ко вон! Не видал такую — кондопожскую? Полюбуйся, поцелуй-ка меня в щелочку!..

— Чайка! Я Первый!

— Первый он — видали?! Ух, шестерка! Вот те — на-ко ся! Фугасным взрывом сотрясла небо кондопожская ядерная свекровь.

— Чайка! — донеслось едва слышно, как из заваленной землянки.

Она чувствовала, что еще миг — и две враждующие воли, обе ярые и, быть может, равные по могуществу, скрестившиеся в ночном небе, разорвут пополам пустое облачко, именуемое с юга Чайкой, а с севера — ягодкой кондопожской. Она висела прямо над избой, где ожидало ее беспощадное, готовое оторвать ей крылья, простое человеческое счастье, властное, слепое, жадно ждущее беспрекословного ее солдатского подчинения своим законам. Ведь кто ж и насытит, кто же уймёт обиду свекрови-большухи, одинокой в огромном пустом доме, как не ласковая да кроткая невестка! Муж гражданки Овцкой, купеческий сын и в Гражданскую белогвардеец, отец робкого Ростислава, доверившего тайну своей родословной лишь Чайке, сгинул в тридцать восьмом по доносу холостого ревнивого брата ослепшей от слез Домны Дормидонтовны, секретного сотрудника, тоже

разоблаченного органами полгода спустя в качестве японского шпиона.

Но на стальном тонком натянутом тросе, как на поводке, придерживала сзади Чайку небесная свобода стратегических секретных полетов, — ведь недаром же избрана Муха и назначена Чайкой, недаром дано ей почетное право отыскать и уничтожить своим искренним распахнутым взглядом черного вражеского дракона — ведь он и есть, не исключено, вся ненасытная земная злоба и смерть. Так кого же послушать, в какую сторону податься? Хотела она, распятая, уже лишь одного — чтобы любой из двух голосов — в небе и внутри ее естества одновременно — одержал наконец верх. “Чайка!” — или послышалось? Тррах! Бабабздах! Всклип, взбульк, всплеск — и снова обвальная грохот свекровкиной гаубицы живой — как будто сверзился с обозной двуколки ящик с винтовками и одновременно лопнула в воздухе шрапнель. И Чайка наконец поняла, из какого орудия ведет вслепую обстрел дальнобойная Домна Дормидонтовна, большая, по воспоминаниям Ростислава, любительница посидеть на досуге в кабинете уединенных размышлений — запорами страдает свекровь-большуха, прямо жуткое дело до чего.

Еще взрыв! И снова гром небесный. И вновь, и вновь...

Вдруг растянутая, как на двух резинках, Чайка ахнула всем своим телом-вдохом и понеслась к земле быстрее пули, потому что тяга от невидимого генерала Зукова со звоном оборвалась. Навстречу ей как бы взлетела тесовая крыша родной теперь уже избы. Чайка зажмурилась, увидев сквозь доски и потолок стопудовую Домну Дормидонтовну на перине. Свекровь храпела со свистом, лицом в пять подушек, и ягодицы ее, вздымающиеся под одеялом, как две половины земного шара, расколотого трудами ее мужа и брата, все еще оскорбленно всхлипывая и бурча, как бы друг на друга, колыхались после невидимого поединка так, что нерушимая купеческая изба покачивалась и стонала.

В ужасе Чайка очнулась, как всегда, Мухой.

Топчан под ней еще подрагивал и поскрипывал. Причем Муха помещалась на самом его краю, чудом не падая. Рядом же с ней, не просыпаясь, бился в кошмарных видениях своей уже полусумасшедшей монашеской души бедный Ростислав. Она рассмеялась, расстегнула ему ремень и сделала для облегчения его глупой жизни то, чего жирные подполковники требовали от нее, краснея и грозя трибуналом, ради чего иные не в меру тертые лейтенанты целовали ей худые немытые пальчики бледных усталых ножек, причем одновременно сулили равнодушной Мухе обручальное кольцо, квартиру в центре Москвы, Тбилиси или Сталинабада, а иногда и тестя-наркома продовольствия впридачу. Ростислав же, чудак-человек, лишь дернулся, зачмокал овечьими своими толстыми губами и, так и не проснувшись, продолжал свой невинный сон теперь уже неподвижно, с пьяной улыбкой отдохновенья. Муха, впервые с мужчиной отчего-то гордая, сама заправила ему обмундирование, а потом так и не рассказала Ростиславу, что в ту ночь была ему, фактически, женой, заботливой и небрезгливой, как полагается, — зачем человеку трамву делать, если у него принципы?

По утрам теперь Муха будила матерящегося Лукича бодрой ударной песней: “Сталин красит нежным светом стены древнего Кремля!..” В лице у нее появился робкий, слабенький, но совершенно искренний девичий румянец. В землянке она наводила порядок самостоятельно, без понуканий своего недоумевающего и безработного в те дни евнуха, и весь день порхала, как бабочка, раздражая своим счастливым видом самых спокойных бойцов. А по вечерам, перед свиданием с Ростиславом, Муха доставала со дна сидора, битком набитого неиспользованными трусами, трофейные духи “Розенблум” — Лукич подарил еще в прошлом году, да все как-то без надобности валялись, — и благоговейно отвинчивала розовую пластмассовую пробочку. Думала, уже выдохлась, но разило от нее теперь так, что командир роты вынужден был вызвать ее и долго кричал, что, мол, воняет теперь

от Мухи на все расположение роты, как в публичном доме, вследствие чего происходит демаскировка воинской части и скоро гансы откроют огонь, ориентируясь на безобразный запах. Посмотрев на его брюки ниже пояса, Муха саркастически улыбнулась и возражала спокойно, аргументированно: духи трофейные, мировые, запах германский, а гансы по своим снаряды не тратят, у них экономия, это не наши горе-артиллеристы, чудаки известные...

Лейтенант Овецкий уже трижды приходил к ней на свидание с подбитым глазом. Муха лечила его поцелуями. Ростислав бредил кондопожской пуховой периной, но пояс верности на Мухе не размыкал. Уходил пошатываясь, сжимая руками свою добровольную головную боль и другие страждущие детали организма.

В ночь после лунного вечера, когда Ростислав читал ей стихи про Ташкент, Муха тоже в полет не ушла, а видела сон индивидуальный, причем совершенно аполитичный. И до того, кстати, безыдейный, что даже Вальтеру Ивановичу рассказать и то постеснялась бы, бляха-муха!

И снится Мухе диковинный мужичок на красном мотоцикле с пустой коляской-люлькой. Лицом он, вроде, на Лукича смахивает. Только борода почему-то до пупа, — не побриться ему, видите ли, — и белая свежая нижняя рубаха вместо гимнастерки, как у Николая Угодника на иконе. В общем, Лукич-то, конечно, не Лукич, а скорее, выходит, сам чуть ли не товарищ Карл, извините конечно, Маркс, со своей бородищей внушительной, — хошь, мол, не хошь, а соединяйся-ка, давай, в темпе со всеми странами, как полагается, коли уж ты такой сознательный выискался, наконец, пролетарий, всем нам, грешным, на радость, а не то вот, гляди, бородой-то сейчас как махану... Однако же за плечами у непреклонного основоположника посверкивали и серебрились настоящие самолетные крылья — с красными звездами. И Муха, сразу же осознав себя Чайкой, почувствовала к бородачу крыленному вполне обоснованное родственное доверие. Но речи его деву вогнали в смущенье и страх.

— Собирай-ка манатки, доча! — Маркс Лукич молвил, строго сведя свои повелительные брови. — Домой тебя, дева, вакуируют, в тыл. Вышел тебе дорогого товарища Сталина приказ эскренный, срочный — аллюр три креста: Искупителя нам всем родишь через девять месяцев, как полагается, в аккурат на майские праздники. Искупителя причем грозного! Необоримого! Неумолимого! С агнцем-то своим Божьим целовалася? Губы-то непорочные свои, дурында, подставляла. Понесешь теперь за свой грех бремя, как согласно всей строгости уставов и наставлений нам фактически и гласит. Ибо сказано было неоднократно раз: сын твой человеческий по всея земле порядок справедливый учредить послан будет. Через него и дух наш святой пролетарский на человечество страждущее снизойдет — через последнюю, окончательную и полную, имени незабвенного генерала-героя Зукова товарища, в три креста насквозь краснознаменную, мирового масштаба войну. Ибо товарища Сталина сердце всемирное всех народов напрасную неразумную скорбь в себя приять алчет — и поглотить — им же, овцам заблудшим, во благо и поучение. А раз пошла такая пьянка, как говорится, без войны уже никак, ты сама посуди. Именно так она и называться будет — Мировая. Потому — для мира дадена будет, для полного всех народов прозябающих под нашею дланью замиренья. Гитлера вот только сковырнем — да и покатымся по всему миру на тех же тачанках верных — всем чистым, сознательным, безотказным душам смиренным во утешение. А об остальных мы в другом месте поговорим, теперя не время. Так и запомни, доча: не меч, но мир! Первенького-то твоего, Иисуса-то Христа, с мечом посылали — не вышло, не оторвался номер. Потому и не пофартило ему, что так и стращал направо-налево: “Не мир, мол, несу вам, но меч!” А ведь люди — народ пужливый, мелкий, люди мира хотят, — вот мы и дадим им всем мир — нате, радуйтесь! А уж если в том мире не более десятой доли личного состава останется, от всего-то человечества дармоедского, — извини-по-



двинься, как говорится, за что боролись, на то и напоролись, сами же мира просили, овцы стриженные, — паситесь теперь слободно, кхе-кхе. Сказано — сделано: не меч — но мир! Разница-то, если со стороны глядеть, невелика, однако же в наличии наблюдается, ты не спорь, дева, то не твоего ума хворь. Хотя в одном ты права, что там, что тут всего-навсего и делов-то на три буквы, — так неужели ж не сдюжим? Есть слово такое — “надо”! И ты в случае чего учти: Сталин то слово сам и придумал, до него не ведали мы, как объяснить все вокруг. А теперь славно — и объяснять нечего. Так надо: мир в себе понесешь! Мир — и Сталина родного всемирную единую правду нашу. И выносишь. И выкормишь ее, вострозубую. И людям отдашь. И не боись, теперь уж его, на сей-то раз, не распнут, как лягуху публичную. Сам, если что, распнет кого полагается — большие дадены полномочия...

“Не Мария ведь я! — говорит ему дева. — Просто Муха — и все. Что-то путаешь ты, Лукич! Пионеркам богов рожать — занятие классово чуждое!” — “Так ведь я и не совсем Лукич! — мужичок бороденку поглаживает. — Проснешься — поймешь. Все тайны тебе откроются, все печати падут. Если проснешься, конечно. А то ведь, гляди, проспичь, неровен час, второе пришествие Господа нашего, окончательное всеобщее воскресенье. Так что бдительность повышай, бляха-муха, не проспич нас всех вдрызг, приснодева шалавая...”

Дрыгнул начищенным сапогом Маркс Лукич, завел свою красную мотоциклетку с полоборота. Крылами самолетными захлопал, чудак-человек, гаркнул по-петушиному, яко фельдмаршал Суворов в одноименной кинокартине, когда переходил Альпы с горки вниз прямо безо всяких салазок, воодушевляя войска примером бесстрашной своей задницы, — да и ринулся с места в карьер прямо на Муху, попердывая мотором да горохом треща армейским — пень старый. Отскочить она не успела. Мотоциклетка же взвилась на дыбы, как Сивка-Бурка, заржала басом и в

небо прынула — жуть! Как будто бы между товарищем Марксом и Мухой невидимая стояла прозрачная стена, по ней и въехал он обратно в свой вышний рай. Только колеса мелькнули и крылья с красными звездами. Круглые, крепенькие, широкие крылышки, точно как у “ястребка” в ленинградском небе. От грохота мотоциклетного и пробудилась — от самолетного воркотанья.

Очнулась — а “рама”, разведчик немецкий, над землянкой пролетевший ночью, уже далеко в тылу еле слышен. А Лукич стоит перед Мухиным топчаном на коленях. На нее слезящими глазами смотрит, крестится и шепчет: “Благословенная Ты в женах и благословен Сын Твой, Иисус...”

— Ты чего? — Муха ему испуганно. — Совсем уж рехнулся?

— Молюся. А тебе чего? — Лукич отмахнулся досадливо.

— Дрыхнешь и дрыхни себе. Ну? — он переступил на коленках, кряхтя и морщась.

Так ты что ж — на меня, что ль, молишься? Я-то при чем тут с богами вашими? Ты, совсем уже, бляха-муха!..

— Побогохульствуй мне! — Лукич прикрикнул. — Иконы-то нету! За неимением гербовой, как говорится... А и чем ты, дева, хуже иконы будешь, так-то говоря? Венчик вокруг башки твоей пустой подмалевать, дитенка к сиське подсунуть — и готовая Дева Мария. Утоли Мои Печали — как согласно всех уставов нам гласит — такие же и под глазами фонари, и худущая, как три года не кормлена.

— Не Мария я — просто Муха, — шепотом дева пробормотала, вспомнив на слове “Мария” весь свой дивный сон разом и перепугавшись, что слова ее собственные то снятся, то сами собой говорятся — опять, значит, заплуталась, спутала сны Лукича со своими, — уж не потому ли, что вход в землянку заколотила сама?

Пока Ростислав жив был, Муха, впрочем, и думать забыла про старичка на мотоциклетке. Каждый вечер — в лесок, как в

наряд. Возвращалась заполночь, измученная ласками жениха, с тяжестью в животе, но так и не расстегнутая. И целовала она Ростислава не раз в губы. Почему-то хотелось самой. Вот ведь как природа устроила — научная фантастика!

А ровно через недельки две так примерно залетел он, соколик ясный, перед внезапной дуrolомной атакой к ней, в пулеметное гнездо, в щеку Муху чмокнул. “За тебя, родная, биться буду!” — крикнул, всхлипнув. Сам бледный — жуть. Осип Лукич отвернулся, сплюнул. Только одно слово и сказал: “Пов-видло!..”

После боя, устроенного лишь по требованию нового дивизионного начальства проверить боеспособность на флангах, принесли санитары защитничка Ростислава на плащ-палатке. А голову его — отдельно, в мешке рогожном. Хоронить-то положено с головой, для этих целей мешки и выдаются. Лукич у него с руки часы снял — миниатюрные такие, блестят на солнышке — не передать до чего.

— Кербóлы-то рыжие, гляди-ка, — Лукич головой покачал.

— Почему рыжий?! — Муха обиделась. Она как раз Ростислава в губы мертвые целовала и гладила его русые волосы, пока никто не видит: то так голову повернет, то этак, все не нацеловаться дурынде, смешно даже, раньше надо было, — так про себя и твердила, — раньше надо было, раньше, бляха-муха! А сама про себя еще глубже понимала, что если бы можно было как-то так забрать эту любимую голову тяжелую с собой, и возить везде по войне, и целовать иногда по ночам, — то больше бы ничего и не нужно фактически, уж будьте уверочки. Вот и обиделась на Лукича:

— Какие же мы рыжие? И никакие мы не рыжие вовсе, а настоящие русые! Да, Ростик? Скажи дяде: я лусый! Да? Я лусый! Сказы!

— Хорош дурью маяться! — Лукич ее оборвал. Отобрал лейтенантскую голову, в мешок завернул. — Я говорю — байки у него рыжовые. Ну — золотые значит. Часы-то. Раскумекала, доча? Я про часы.

Муха закивала головой радостно, стремясь показать Лукичу, что не только вполне нормально сознает его слова, но и поняла уже, до чего глупое проявила, совершенно детское поведение с головой Ростислава. Как чудачка какая-то, честное слово!

— Повезло тебе, доча! — Лукич закурил. Хоть один мужик за тебя лично и совершенно сознательно жизнь отдал. В мирное-то время такого не дожدهшься, будь ты хоть самая занудная недотрога...

А часы те Муха потом капитану одному отдала. Молодой оказался, а уже весь седой. Веселый такой, все грозил: я, мол, тебя усыновлю! А она ему в ответ: не усыновлю — удочерю! Вот смех был! Капитан всё анекдоты травил. Между шутками да анекдотами Мухе легко с ним было, да и быстро все получалось, не успевала устать и обозлиться. Наоборот, смеялась под конец, когда он ей докладывал: “Проверено, мин нет!” Вот и подарила часы, что не мучил, не травил душу. Интересно все-таки, как же его звали-то? Всех хороших людей либо Колей зовут, либо Сашей, давно заметила. Саша, наверное. Нет, все-таки Коля! Николай Сергеевич. Ну да, Николай Александрович... Или все-таки Саша? Александр... Нет, наверное, все же не Александр... Да господи же — Коля, Саша, — мировой парень и все, веселый. Погиб, наверное. Он сапер был, на разминирование приезжал, в командировку, из-за Мухи только и задержался на три дня. Точно погиб. У всех саперов одна судьба, давно известно. Самая страшная судьба...

Нет уж, хоронить своего барашка безголового Муха не пошла — мерсите вас с кисточкой! Хотела сама-то, по правде говоря, да Лукич отсоветовал, спасибо. А ночью вдруг разревелась, как девчонка, — стыдно вспомнить. Что всякий мужик, если с ней хоть раз в дружбу вступит, обязательно его убьют скоро, Муха заметила давно. Удивлялась, конечно, сначала, а потом-то привыкла. Лукич, кстати, этому странному положению дел даже объяснил причину. Он с Мухой как-то раз сам об этом заговорил.

Кого из офицеров роты в тот день пуля шальная нашла — и не вспомнить. Вроде был младший лейтенант какой-то, то ли старший. Брюнет, кажется. Да, курчавый такой, чернобровый. Нет, курчавый до него еще на mine подорвался. В общем, как-то после ужина Лукич спрашивает:

— Ты, доча, замечаешь или не замечаешь, как твоих кавалеров смерть любит? Не замечаешь? Ни одного, вроде, не обошла, сколько я при тебе евнухом состою. А?

— Война! — Муха плечами пожала. — Войне-то какая разница? Ей начхать, лычки мужик носит или погоны со звездами. Что ж я могу сделать? — она закручинилась.

— Да я не о том! — Лукич закричал. — Как тебе объяснить. У меня давно уж получается вроде как примета. Я и Саньке Горяеву даже внимание обращал. Как мужик к Мухе нашей подкатился — так, значит, не сегодня-завтра хоронить его будем. Не в бою убьют — так “рама” с воздуха очередью прошьет. Не “рама” — так мина прихлопнет. Я одно время стал даже учет вести. Ну и сразу испугался, бросил это дело. Заговоренная, думаю, девка, ну ее к Богу в рай. А что мужики перед концом облегчение получают — это большое дело. За это тебе, если по-настоящему говорить, особая медаль полагается и фронтовое товарищеское спасибо.

Муха приосанилась, построжала лицом.

Лукич, отдуваясь, разлил из фляжки заначку себе и Мухе по ровну:

— Давай помянем их, доча! Всех разом. Царствие небесное! Выпили не чокаясь, Лукич до дна, Муха — один глоточек.

— И кто ж меня заговорил? — спросила она, утирая с губ спирт рукавом гимнастерки

— Да в том и дело: никто! Тут все проще и хуже! — Лукич в затылке почесал, похрустел луковицей. — Изъян в тебе есть, доча. Изъян капитальный. Нет в тебе злобы на жизнь нашу скотью.

— Чего-чего? — Муха зевнула.

— Того. Ты вот признайся: злишься на них, на офицеров? Обижаясь хоть вот столько? — он кончик мизинца показал.

— За что, Лукич?! — Муха испугалась. — Господи, да за что? Ведь война же, бляха-муха! Что же я — не понимаю? Все понимаю, конечно... Раньше, может, и злилась, не помню. А теперь — как не чувствую, что ли — и сама-то не пойму. Как разберешься тут? И как же мне на него, дурачка, злиться, когда он передо мной — чистый ребенок, даже хуже — сосунок! Они же, некоторые, даже раздеваются догола, как перед доктором. На лопатки его голые поглядишь, на бугорки-косточки — всего его жалко! Ведь каждый день почти что пули летают, осколки, бомбы, мины, а он-то на самом деле совсем голый, ни одной детали даже нет металлической или хотя бы из алюминия, — ведь так? Только гимнастерка сверху — а разве она защитит? Глупо это, что ли, не пойму я никак. Вот раньше, говорят, на войне в латах воевали, в кольчугах, и котел такой на голове, лучше каски в сто раз, надежней, — хотя ни минометов еще не было, ни даже нормальных пушек, только мечи да сабли. А теперь напридумывали разного динамита, а человека голым оставили — вот чудачки! Я так всех и вижу — голыми под одеждой. Иногда даже колотун разбирает на некоторых глядя — до чего они голые там. Причем когда мне на него смотреть слишком уж холодно, я уж знаю: этому тоже скоро конец, совсем скоро. Почему так, Лукич?.. И никакой ты не евнух вовсе, не надо так. Ты же знаешь, я тебя, чудачка, очень ценю и уважаю как старшего товарища и пахана. И вообще. Зачем ты? Евнух — это у хана Гирея, я в балете про него смотрела, противный такой, в чалме огромной, а должность холуйская: за женами чужими присматривать, чтоб не гуляли. Ты же за мной не подглядываешь, правда? Сколько раз и мылась при тебе, и все. Да господи, ты мне вообще — отец родной!..

Муха, уже пьяная, потянулась через ящик, на котором стояла коптилка, и чмокнула Лукича в щеку. Всегда от спирта сразу пьянела, никак не привыкнуть почему-то.

— В том и загвоздка: любящая ты, — Лукич засопел недовольно. — Притом, опять же, беззлобная, как плотва. Тебе бы хоть чуть обозлиться: ведь на земле живешь пока, не в раю. Тогда бы, может, не так бы им доставалось — поменьше, пореже. Ведь ему не все равно, я имею в виду Бога-то, — кого человек обидит. Одно дело Светку-фельдшерицу, суку позорную, мочой напоить вместо коньяку, под пьяную лавочку посмеяться, — а тут девчонка-пионерка, от горшка два вершка. Бог-то не фраер, все видит, обидно ему за тебя, малую...

— Да кто ж меня обижал?! — Муха по ящику кулаком шаркнула, фляжка на бок упала, пролился спирт. — Я тебе, стукачу, жаловалась когда? В жизни ябедой не была! Что я — несознательная какая! Ты ж знаешь: для меня коллектив — все! Кого я подвела?

— На коллектив твой козлопакоственный Господу нашему с самой высокой колокольни начхать, — Лукич на пол сплюнул. — А за тебя у него сердце ноет. Вот он их и метит — чтоб каждый стал как мишень. И правильно делает.

— Завидуешь им, бугор! — Муха горестно улыбнулась. — А Бога нет. Был бы Бог — и войны б не было. Что — съел?

— Ну-ну, — Лукич закричал. — Плохо ты его знаешь, доча...

В ночь после боя, в котором Ростиславу, лейтенанту красивому голову снесло, плакала Муха не от жалости к бледнолицей его башке с распахнутыми синими глазами, не от обиды на какого-то там бога. От страха она плакала и от стыда. Потому что помочь ей в ее положении могла одна только фельдшерица Светка. А Светка, конечно, на всю дивизию парашу пустит: она Муху не любит. И ведь предупреждал Вальтер Иванович, все предвидел, уберечь стремился, дуру, — все позабыла начисто с безголовым своим Ростиславом. Так и уснула Муха — в слезах.

А наутро приехал из штаба приказ: передислокация.

Суматоха, бестолковщина, мат. Дурацкие приказанья лейтенантов, кряхтенье Лукича, разбитого некстати радикулитом, разоренье согретого гнездовья. Досада, страх, усталость, тоска. Трясая длительная дорога в кузове трофейного грузовика по проселкам, изрытым снарядами, перекопанным временными траншеями. Ночевки под открытым небом у взорванных мостов. Утренний первый заморозок, иней на траве, на вороте шинели. На новом месте — рытье траншей, блиндажей, окопов. Холодный обед, горячие ночи пустых перестрелок с необорудованного, неустроенного рубежа. Запах крови в морозном воздухе. Желтый листик березы на груди убитого капитана Еремина: вот уж ни сном ни духом уже ни при чем Муха, ни одного мужика не подпустила после смерти красивого Ростислава, — сами почему-то не лезли. Осень опустилась внезапным холодом и снегом. Но в середине сентября явилось из-за глухой стены холодов тихое, лазурное бабье лето, затянула прицел максима липкая паутинка, хотя всего только двое суток обошлось без пальбы. Солнышко, желтый лес позади траншей, чистые редкие облака. Муху же теперь уже каждые полчаса донимала, давила тошнота. Закатывалось у бедной девы сердечко.

— Шла бы ты, доча, к Светке, в лазарет, — Лукич ворчал, вынося по утрам из землянки Мухино ведро. — Чего тянуть? Эх, бляха-муха!..

И Муха поползла.

— Прискакала, лягуха? — Светка руки в бока устала. — С икрой, значит, ковырнуться пришла. Ишь ты, дыня-то какая — за версту брюхо видать. Это какой же тебя лейтенантик зарядил? Ишь рожа-то вся опухшая, зеленая — токсикоз. Ну, куда он девался-то? Поднатыривать девок все мастера, а как штамповаться в загсе — так и за хвост его, козла, не удержишь. Главное, самый неудачный момент выберет, когда оторваться, — как раз как ты забрюхатела. Пока динаму тебе крутит — ни-ни, ничего ему и не надо, подумаешь даже: рукодельник, видно, само-



люб, а заделать как следует и не сможет никогда, — тут он тебя и прихватит за прорезь...

— Лекарства бы мне дали бы, Светлана Ерофеевна! — Муха сняла пилотку, в четвертый раз вытерла сапоги у порога.

— Под нож пойдешь! — приговорила Светка. — Как я ходила всю жизнь. Пора тебе привыкать. Лекарства ей! Видали? Нет такого лекарства на свете — не придумал товарищ Сталин! Вам лекарства дай — вы у меня всех кобелей переманите, мокрохвостки! Вот распялят тебя на рогатинах, наизнанку вывернут — научишься родину любить...

Запертая горлом жидкая каша прорвалась Мухе в рот. Она подставила ладошки ковшиком, чтоб не попало на чистый Светкин пол. Все равно пролилось, конечно.

— Извините великодушно, Светлана Ерофеевна, — Муха прохрипела без дыханья. — Дайте тряпку, я вытру.

Светка умыла пошатывавшейся Мухе лицо. Подтерла пол. Не глядя на нее, буркнула:

— На аборт завтра придешь. Сегодня у меня полковник Орловец.

Муха поблагодарила, шмыгнула за порог.

— Ну-к, назад! — приказала фельдшерица. — Помогите мне, подруженька. Диван хочу переставить. Берись-ка с той стороны...

Диван у Светки в избе — старинный, кожаный, дивизии всей известный. Светка его за собой возила всю войну, и бойцы устали проклинать дубовый катафалк неподъемной тяжести. Однако командование аккуратно при каждой дислокации присылало грузовик и пятерых солдатиков для отгрузки лазарета. Кроме дивана да двух коробок с лекарствами, лазарет составляли три кованых сундука со Светкиным приданым. Фельдшерица тянула поболее всех своих сундуков и косила на оба глаза.

— На себя не тяни, росомаха! — командовала Светка, уперев руки в бока. — Нет, подружка, так у нас с тобой дело не пойдет!

Сперва поднять надо. За низ подними. Нагнись, нагнись, не бойся, не велика барыня! Я сама его сколько раз поднимала — жива, как видишь... Э, да ты совсем слабосильная, — и что они в такой дохлятине находят, козлы...

Муха злилась. Рванула диван на себя и стала медленно разгибаться, отодрав громаду от недавно крашенного пола. Кровь ударила в голову, сдавила ей горло.

— погоди, кривосачка, пособить тебе хочу...

И Светка с размаху плюхнулась посередине скрипнувшего дивана.

Выпучив глаза, не в силах ничего сообразить, Муха удерживала махину на весу еще секунд пять. Привыкла, что на нее надеются и подводить нельзя. В животе у нее что-то вздрогнуло, и колени подогнулись от пронзительной боли. Она упала лицом на диванный валик, роняя диван с развалившейся на нем и хохочущей Светкой на пустой носок своего просторного сапога.

Светка дала Мухе нашатыря понюхать. Отвела в маленькую комнатенку с узким оконцем. Раздела, уложила бережно на кровать с двумя подушками.

— Так-то проще, по-нашенски, без ножа, — приговаривала она уютным удовлетворенным говорком. — Теперь опростаешься враз, двустволка малолетняя. Отдохнешь недельку, пошамаеть офицерский паек. Повезло тебе, что живот слабый, детский еще. Из меня-то уж, верно, и палкой не выколотишь, да вот что-то не везет, второй уж год. Давно бы дома была, в Твери... А ты чего ж не использовала положение свое? Не надоело, значит, за родину сражаться по ночам? Ладно, твое дело. Красивый хоть был-то? Жениться обещал?

Муха кивнула, заплакала.

— Выпей-ка вот спиртику. — Светка сунула Мухе мензурку, подержала ее под голову. — Слушай внимательно. Сейчас ты начнешь немножко помирать. Выкидыш будет — все как поло-

жено. Дивану спасибо скажи, в пояс поклонись. Даст Бог, и в госпиталь вести тебя не придется, — она поплевала через плечо, — сама опростается начисто. Под кроватью горшок. Но очень уж не терпи, сразу меня зови, если что. Хотя ничего и не должно быть такого, срок ведь маленький. Соски-то у тебя мокнут, течет молоко?

— Течет, — Муха всхлипнула. — Сладенькое...

— Допрыгалась, дура! Ладно, сейчас еще таз тебе принесу...

Муха закрыла глаза. Представила, как маленький в животе у нее цепляется ручками, а удержаться не может. Всплыл в памяти сон с Лукичом-Марксом, но тут же сам собой и закатился за темный край неизвестности, одно только слово и успело выкрикнуться на всю ее пустую от страха голову: ИСКУПИТЕЛЬ!.. КУПИТЕЛЬ!.. ГУБИТЕЛЬ!.. ОБИДЕЛ, ОБИДЕЛ!.. И тишина...

Разбудила ее фельдшерица только на следующее утро. Горшками пустыми под койкой загремела, зазвякала.

— Выкидыш где?! — закричала страшно.

Муха проверила и засмеялась. Как будто в положенный срок, раз в месяц, — капелька алая, одна всего, — и все. В животе разливалось приятное тепло, тело было легким, выпавшимся, здоровым.

— Издеваешься, сучка?! — Светка руки в бока устала. — Симулянтка! Дизертировать хотела — а сама-то пустая всклень!

— Я-то при чем? — Муха плечами пожала, откинулась на подушку, вздохнула освобожденно.

— Ты ж беременная была! Я же видела сама: зеленая вся, и тошнота, и молоко...

— Была, — Муха улыбнулась виновато. — Вся рота знала. Даже весь полк. За версту обходили, как чумную.

— Так где ж он? Я тебя спрашиваю!

— А может, его и не было?

И Муха запела:

— “Не спи, вставай, кудрявая! В цехах звеня...”

— Но ведь было! Было же! — Светка присела на край койки. Задумалась. — Постой-ка, подруга. Может, ложная беременность? В учебнике я читала — бывает такое. Называется — болезнь датской королевы. Была такая одна королева в Дании, бесплодная, очень ребеночка хотела. Ну и вздулся у дуры живот, пустой причем...

— Я не хотела, честно! — Муха даже обиделась. — Наоборот — боялась. Хуже смерти боялась!

— Какая разница теперь-то уж!

Светка откинула с Мухи одеяло, помяла ее белый мягкий живот. Потрогала соски, уже не вздутые, как вчера, а маленькие, девичьи.

— Доброе утро, Маркс Лукич! — Муха про себя пробормотала.

— В рубашке ты родилась, подруга! — Светка закутала Муху, подоткнула одеяло. — Спи дальше, отдыхай. А проснешься — о жизни своей подумай. Удирать тебе надо с фронта — без задних ног. Пока цела. Боженька дважды не милует. Он ведь все твои художества сверху наблюдает, как смерш...

— Нету никакого бога, — сказала Муха и отвернулась. — Я давно знаю. Уже почти полтора года, как знаю...

— Откуда ты знаешь, дура? Этого знать нельзя! — Светка перекрестилась и оглянулась на закрытую дверь.

— Можно! — сказала Муха.

И громко чихнула. Как будто снова, как в сорок первом, в июле, лезла ей в нос и в горло голубая глиняная пыль.



## ГЛАВА ПЯТАЯ

*В которой Дэус консерват омниа.*

Днем и ночью через деревню Кондрюшино, сквозь голубую глиняную пыль, протекали стада.

Охмелевшими головами качали в такт нетвердым шагам всегда выдержанные, чопорные матроны симментальские дальнего ударного колхоза имени Сталина (бывшее имение графа Мещерского). Неделю назад они подминали тугим выменем высокую медуницу заливных лугов, теперь же были смертельно тощи, как знамение фараонова сна о семи годах голода.

Понуро плелись буренки пегие, карие — костромские: колхоз “Наш путь”.

Поспевали за костромскими коровушки голландские, нежные — “Пятнадцать лет Октября”. Их томных бабушек и строгого прадеда выписал некогда с польдеров, где разгуливал, вдохновляясь, Рубенс, рачительный тверской помещик Цицианов-Топильский.

Лениво тянулись кругломордые ушастые бычки — ферма колхоза “Красный май”. Хмурые погонщики подталкивали сосунков кнутовищами.

Норовили выбежать на обочину, пощипать траву овцы облачно-кучевые, кудлатые. Мудробородые надменные козы пронизывали ледяным взглядом жалкую суету бегства. Горизонтальные козьи серебряные зрачки застывали, как у дневной совы. Бывшая коммуна “Гигант”, ныне колхоз “Колос”.

И бараны, с удрученными лицами, желающими сна, в локонах завитых рогов, — тоже из “Красного мая”, наверное.

Перекатывался, громыхал и звякал под копытами смятый цинковый подойник. Из него еще сочился тонкий ручеек молока. Молоко не впитывалось в утоптанную глину, лежало лепешками, как пролитые белила, синее по краям.

Ковыляли пешком и тряслись на телегах беженцы. Из Демянска-городка. Из дальних деревень Валдайского края.

Сухое скрипучее мыканье непоеных коров. Лица людей молчащих, поглощенных ходьбой, дорогой, пылью, как потоком взбаламученной реки. Рыдающее ржанье испуганного жеребца. Редкий хлесткий выстрел кнута — мало погонщиков, очень мало.

Стада. Стада. Стада.

Их угоняли в тыл, на восток. По новгородскому тракту.

А грязные, одичалые закаты докатывали до Большой Медведицы. С утробным клокотаньем ворочались в небе до рассвета. Взмахивали зарницами.

Сжималась, съеживалась земля. Запад наворачивался на круглый восток, края холмы Валдая сизой неживой хмарью пожара, прогоняя с пастбищ скотину, подминая крестьянскую жизнь. Покрывала землю война ветхой нестираной скатертью скоромной гулянки. Стелила постель для невесты мертвой...

Весной сорок первого года врачи у Мухи определили малокровие, анемию, авитаминоз, а также туберкулез — под вопросом. Родители посоветовались с учителями и отправили бледненькую восьмиклассницу к бабушке, на Валдай, в деревню Кондюшино, — молоко парное пить. В деревне была хорошая десятилетка. Папа приезжал на “эмке” раз в месяц, в штатском костюме, привозил конфет и пирожных, а для бабушки Александры — халву, она любительница.

Двадцать третьего июня почтальон дядя Влас принес телеграмму: “Не волнуйтесь зпт скоро будем зпт ждите письма”.

Письмо пришло через три недели. Но не от родителей, а от тети Клавы, с которой отец и мать работали на одном военном заводе. Она писала, что Мухе лучше остаться в деревне, поскольку ее родителей как кадровых специалистов руководство направило в другой город, в командировку, причем, наверное, надолго. Они, мол, сами оттуда напишут, а пока приказывают Мухе слушаться бабушку и не бояться: немцев прогонят дней через двенадцать — четырнадцать.

А потом через деревню пошла стада...

Муха выбежала на крыльцо на рассвете. По размолотым в прах колеям волочился алый, как знамя, боров, с лиловым облаком присохшей грязи на обширном подбрюшье. Элитные свиноматки Уля и Гуля, известные всему человечеству по московской Сельскохозяйственной выставке, не поспевали за боровом, и пожилой невыспавшийся погонщик подталкивал их прикладом винтовки. Подслеповатые, с холодными рыбьими лбами, бурля изнутри матерым салом, они тыкались в мусор на дороге и так растеряли, не умея оглянуться, молочных своих поросят, — уже испеченных, может быть, на штыках военной охраной стада.

Мимо учительской высокой избы, мимо школы и сельсовета, где трепетал над крышей линялый, почти что белый флажок, бравурные, как прибывающая гроза, проносили свой дипломированный экстерьер с достоинством и честью фиолетовые племенные быки колхоза “Имени ОГПУ”. Поблескивали военной сталью кольца у них в ноздрях. Сверкали кривыми кинжалами полированные рога. Пыхали кровавые яблоки глаз, каждое с кулак кузнеца.

Вослед коллекционным прославленным производителям выступали приставленные к ним навечно три зоотехника с гармошкой. У каждого из них на запыленном пиджаке блистала медаль за славу. Зоотехники шли шеренгой, по-солдатски. У них была бронь от призыва прочная. Они размахивали руками и пели: “Малой кровью, могучим ударом!..” За ними каурая ко-



былка, в исправной сбруе и городских кожаных шорах для форсу, понуро влекла старинную легкую бричку. На ее лакированных черных дверцах сверкали опереточным золотом начищенные графские гербы с двумя стоячими львами и надписью полатыни: “Дэус консерват омниа” — *Бог сохраняет все*, стало быть, консервирует. В бричке, все оглядываясь назад и крича что-то непонятное, как будто на их языке упрекала лошадей или коз, восседала пожилая пьяная цыганка в синем шелковом платье, простоволосая. На полных плечах — черный полушалок рытого бархата с серебряными кистями. Одной рукой, тяжелой от браслетов и колец, цыганка по-мужски подергивала обвислые вожжи. Одновременно давая грудь крупной кудрявой девочке лет шести, сидящей у нее на коленях. Девочка языком мусолила сосок, а сама рассматривала, переливая в смуглых ладошках, золотое материнское монисто, длинное, чешуйчатое, как змея.

Сразу за бричкой вышагивали городские ровные пионеры. На них-то и кричала цыганка. Пионер поменьше ростом изредка бил одной палочкой в красный барабан — с раскатистым треском. Ударит — и засмеется. И гладит себя по голой, вчера остриженной наголо, маленькой голове с узким голодным затылком.

— Ну вот и свету, почитай, конец: двинулась Русь!..

У Мухи за спиной крестилась бабушка Александра.

— Ноев ковчег, прости меня, Господи!.. Архистратиге Михаиле, отжени мене от лукаваго, старости моя ради! — Она повернула Муху к себе лицом и насильно ее перекрестила, больно ткнув щепотью в глаз.

Муха вырвалась, сбежала с крыльца. Двинулась наперерез стаду к избе сельсовета, где трепетал над крышей линялый флажок. Там уже дожидались деревенских парней военные грузовики. Шофер в гимнастерке и высоких сапогах окатывал из ведра черную командирскую “эмку” — точь-в-точь папину как будто.

Мурашки бежали у Мухи по спине, когда она останавливалась, пропуская пружину валом скотину. От пыли во рту было кисло, гортань чесалась. Муха чихала, утирала ладонью слезы. Чихала снова, снова, уже утонув в пелене слез, уже не чая выбраться из водоворота животной плоти, что сопела, чавкала и топотала, как жадное болото. И ревели стада. Щелкал бич. Вихрем свивался темный ужас скотов, отрываемых от земли клубящейся всесветной рекой исхода.

Взволнованно, словно на каблучках невесты, стайкой семенили двухлетки-телочки, покачиваясь и бесстрастно помыкивая. Нежно розовела кожа под слабым ворсом у них на щечках и на костистых невинных бедрах. Муха узнала по темному пятну на холке смиРНовскую смиРНую Зорьку. Протянула руку погладить ее, но телка дико шарахнулась, отдавив копытом Мухе большой палец левой ноги.

Захваченная буйным, едва ли не безумным течением смешанного стада, Муха поневоле вбирала телом пронизывающие токи страха, глухое горе безвинных животных. Не ведая над собой Бога, кроме человека, отданные землей в его власть, когда-то свободные, они утратили давно звериную независимую мудрость. Двух-трех суток бегства впроголодь им хватило, чтобы забыть хранимый человеком строй млекопитающего порядка. Тень разума, охранявшего безмысленный скотий покой, рассеивалась, как дорожная пыль, над бурунами голодающей плоти.

Пробиваясь сквозь токи и завихренья рогатых голов, с глухими, задернутыми пылью глазами, мимо коровьих длинных хвостов, вдоль острых пупырчатых хребтин, Муха переживала одичанье домашней скотины, как напасть, как собственную болезнь. За месяцы деревенской жизни Муха привыкла уважать трудящихся животных едва ли не наравне с человеком.

— Смута, смута окаянная! — говорила с крыльца Богу бабушка Александра. — Не ведают, что творят, архангелы Твои, Господи! Хоть бы додумались, живоглоты, к водопою скотину повернуть...

Юный, как облачко после дождя, взрослеющий орловец ста- новился вдруг на дыбы, закидывал березовые ноги в золотых несношенных копытах старой корове на круп и ржал над соб- ственной шалостью. Приглашал ликовать от силы движенья та- бунящихся каурых братьев и старого обреченного мерина в се- дых яблоках, взбодрить стремясь и чуждых двух кабардинских иноходцев в белых цирковых уздечках, с перерубленными то- ропливым погонщиком удилами, и все стада ревущие, и табуны на скаку, и клубящиеся отары, по воле, быть может, злопамятного скотьего бога Велеса, утопленного в Днепре чуть не тысячу лет назад, изливаемые теперь войной из горизонта в горизонт.

Через равнину с хлебами, окрашенными рассветом, и синий холм с пустой сквозной колокольней.

Через малое сельцо Вельцо и деревню Кондюшино, разбу- женную спозаранку, — четыре порядка изб с распахнутыми дверь- ми и ставнями, с новыми заборами и мятущимися курами, чер- ными стариками и белыми детьми.

Сквозь последние материнские заклинания, кресты и всхли- пы.

Сквозь дыханье и слезы девочки Маши Мухиной. На крыльце сельсовета она раз за разом чихает и тербит за плечо, чихает и обнимает мирового парня Звонарева Алексея. И чувствует вдруг щекой, что Алеша, сосед ее по школьной парте, сбрил сегодня свои белые шелковые волосы на подбородке — Муха любила прихватывать их зубами, когда Алексей целовал ее в щеки, про- вожая после танцев в клубе до дому. И чихает Муха, и летит голубая глиняная пыль, как последний дым сгоревшего за ночь заката. И жесткие лямки отцовского солдатского сидора уже схватили Алексея за плечи.

— Не жди, — сказал Алеша. — Не вернусь.

Муха перестала чихать. Ее нос, губы и дыханье уже поняли, что сказал Алеша, а сама она еще не осознала. И спросила:

— А?

Он поцеловал ее в мокрый нос и пошел к машинам.

Парни молча и без игры залезли в кузов серой тарахтящей полуторки. Поплыл грузовичок навстречу топотавшей с пригорка скотине. Галопом разбегались, спотыкались в канавах у обочин коровы, выкатывали жадные белки плачущих глаз. Подняв морды, они уповали гулко на защиту и справедливость человека. Дрожа, еле-еле выпрямляли ноги, провисая хребтом от недоенного воспаленного вымени.

Машины продвигались на малой скорости, почти непрерывно сигнала голосами жалкими и злыми. Перед колесами передней полуторки река рогатых голов растекалась на два рукава. Грузовички и командирская “эмка” были будто три острова, неподвижные в стрежне мощной реки. Муха видела, как из окна поезда, что движется сама земля, вместе со стадом, в нее вросшим, грузовички же качаются и тарахтят на месте. Они тарахтят, трясутся, угловатые, вспыхивают глазами, а под ними земля, с ее дорогой, канавами и полями окрест, с быками-валунами, и волнами пенистыми овечьих табунков, и багровыми, бурыми, молочно-черными бурунами бокастыми симментальскими, костромскими, — сама земля наворачивается, проскальзывает под колесами и дальше, дальше летит, как ковер-самолет. Себя же саму Муха чувствовала как бы привязанной к машинам, покидающим землю, и дорога уплывала у нее из-под ног, покачиваясь и дрожа.

Острова войны плыли навстречу реке спасенья, разрезая ее неживыми голосами автомобильных сигналов. Алеша и другие ребята стояли в кузове, махали матерям и девчонкам, глотающим пыль из-под колес. Командир, с портупеей через плечо, примостившись на подножке грузовика, кричал на мальчишек, забегавших дорожку полуторке.

Муха давно знала, что с войны не возвращаются. Не вернулись с финской ленинградские ее соседи-приятели Сеня Глазман и Ваня Енакиев. Не вернулись и деревенские, известные ей по рассказам Алеши, — Гошка Вепрев, скотник Витя Сомов,

брatья Селивановы, Фрол и Гордей. И многие еще, многие. Из кондрюшинских вернулся только Серега Евграфов, кузнец, без руки пришел. Он сидел в клубе, на танцах, каждую субботу, хоронился в углу да лузгал семечки, а шелуху ссыпал в тот карман пиджака, над которым болтался пустой рукав.

Ноги ее сами понесли по дороге, и Муха быстро догнала грузовик. Вцепилась в задний борт. Повисла, волоча ноги по колее, кусая губы. Грудью ударялась о гремящие доски с гвоздями.

Алешка протиснулся к борту. Схватил ее за запястье левой руки, потянул вверх.

Муха ударила правой ногой в дорогу и взлетела над землей.

Машина вскидывалась на ухабах. Доски били Муху по ребрам. Алеша кричал ей что-то в лицо. А Муха летела и летела.

Тело ее стало невесомым и распластанным над землей. Она закрыла глаза. Где-то рядом с облаками парила.

Неделю назад ей снилось это: держит Муха за руки Алешу и летит. И никогда его не отпустит. И никогда с ними, летящими, ничего плохого случиться не может. Потому что летят Муха с Алешей, держат друг друга за руки, а над ними радуга радуется во все небо.

Грузовик остановился. За правую руку Муху схватил подбежавший командир в портупее.

Алешка тянул ее вверх. Командир портупейный — вниз.

В бок Мухе впивался гвоздь из доски, а в горле хрипело. Она ничего не видела и вздохнуть не могла. Радуга упала и раскололась оранжевыми звездами и синими осколками.

Командир кричал и ругался. Крылатое тело Мухи разрывалось между землей и небом.

— Майн Готт! Как вам не стыдно! Вы же красный офицер! Оставьте девочку, она имеет право проводить!.. Не имеете права! Доннерветтер! Цурюк! Цурюк!..

Она не узнала голос учителя. Но знала, что только он, Вальтер Иванович, может крикнуть в запале по-немецки. Он час-

тенько ругал мальчишек немецкими словами — и в шутку, и всерьез.

Алешины пальцы разжались, и Муха упала на землю.

А когда открыла глаза, снова увидела сон.

Тихий учитель немецкого языка наскакивает на командира, хватая его за портупею. Отбив его слабую руку, командир отрывает напрочь воротник белого пиджака учительского, отглаженного всегда и чистого, кричит: “Немецкий шпион!” Подбегают солдаты с винтовками. Учителю скручивают руки. Тащат его к командирской “эмке”, вталкивают в черную машину. Трогает первый грузовик. За ним второй, где Алеша в кузове. Машины въезжают на пригорок над озером Вельцом. И, свернув с тракта на лесной проселок, вслед за машиной, увозящей учителя, исчезают за полосой ольшаника, набирая скорость внезапными рывками, как живые.

Муха долго лежала во ржи за обочиной. Никто из девчонок не остался с ней: испугались. Из-за дуры учителя забрали самого любимого — за что? Соображать же надо, хоть ты и городская!

Так она и сама поняла, когда слезы высохли: виновата. Навек... Нет! Сам шпион! Предатель! Так ему и надо!..

Месяц назад Вальтер Иванович оставил Муху после уроков переписывать контрольную работу. В Ленинграде по немецкому языку у нее всегда было “отл.”, в крайнем случае — “о. хор.” В деревенской школе съехала на “уд.”, случались и “неуды”. Вальтер Иванович заставлял учить наизусть Гете и Гейне — километрами. Делать перевод — туда и обратно. Тексты для диктовок составлял сам или придумывал на ходу. Мать у него была немка, все знали и уважали его за вежливость и ровный пробор в белых остзейских волосах.

“Рихард Вагнер — великий германский композитор”, — переводила Муха про себя, поглядывая на учителя исподлобья. И не “германский” — немецкий, во-первых. Так, одну хоть ошибку

сама исправила. Помогло, что пятое ребро перекрестила, когда за парту садилась, как Алеша научил. “Цикл его опер “Кольцо Нибелунгов” знают и любят все любовники музыки...” Любители, дура же! “Любители музыки не только в Германии, но и во всех странах мира. Особенно знаменит великий... великолепный... летающие Валентины...” Тьфу! “Летающие валькиры...” Вампиры? Валекиры? Валекира — интересно все-таки, есть имя такое, наверное, а может, нет? Написано — значит есть! “Летающие Валекиры” из оперы “Тангейзер”... Валекиры, Тангейзер, — мудрят все, дураят народ, нет бы сказать просто: Валя, Геша...

Прочитав Мухин перевод, Вальтер Иванович пошел в угол, за печку, где стоял патефон. Завел скрипучую пружину, поставил пластинку. Музыка подхватила Муху, дыхание пресеклось.

— Вспомнила! — она себя по лбу хлопнула. — Это же самая мировая пластинка! “Полет валькирий” же! Вы нам уже два раза ставили ее, Вальтер Иванович!..

Он прижал палец к губам: помолчим, мол. Руки сложил на груди. Глядел не на Муху — в окно. Он стоял, а Муха видела, как он летит в небе. С белым пробором. В белом плаще. С факелом в руке — за справедливость, за нашу победу, за мировой пожар! Против всех этих финнов, японцев, якутов — только немцы ведь с нами заодно, дружественная такая нация, сознательная...

Когда музыка закончилась, Муха подошла к нему, встала рядом. Занавеску белую на окне задернула. Занавески в классе повесила Валерия Исидоровна, учительница математики, черная и злая, как осенняя галка. Бездетная.

И сказала Муха, глядя в пол:

— Вальтер Иванович! Поцелуйте меня, пожалуйста. Один разик!..

И — сквозь землю сразу провалилась. Темно стало в глазах.

— Не могу, Мухина, — сказал он спокойно. — Забеременеешь сразу. А кого родишь, подумай! Немца родишь. Такие, как ты,

сразу могут, от одного поцелуя. И вот родишь ты немца, а скоро война, между прочим... С немцами как раз война, кстати. Да.

— Почему война с немцами? — Муха обидеться не успела.  
— Почему немца рожу?

— Потому, что кончается на “у”! — он повернулся и указательным пальцем придавил ей кончик носа.

Муха закрыла глаза и поцеловала его мягкие пальцы. Длинные такие. Ноготочки миниатюрные, чистенькие — прелесть!

Он отдернул руку. Побледнел. Бумага, буквально.

И вдруг той же самой рукой ударил ее по щеке.

Вальтер Иванович опустил голову. Покраснел так, что Муха увидела розовую кожу над его редкими, гладко зачесанными волосами, а пробор стал багровым, как рубец от удара прутом.

— Зачем? — спросила Муха тихо.

— Чтобы не подглядывала из кустов, как я по ночам в речке купаюсь с милейшей Валерией Исидоровной. Чтобы кнопки не подсовывала мне на стул. И в окно бы не стучала мне среди ночи, в простыню завернутая: всю валерьянку выпила бедная Валерия Исидоровна, до утра ее откачивал. А главное — чтобы ты на войну не убежала, когда меня на черной машине увезут, а ждала бы смирно Алексея своего, божьего человека. Активная ты больно, Мухина. Худенькая — но активная. Впереди паровоза бежишь, а дороги не ведаешь. Летишь... По земле надо ходить, по земле. Уйми гордыню!.. Однако не смею вас долее задерживать, фройляйн! — Он склонил перед ней свой серебряный пробор, глухо щелкнул каблуками белых парусиновых зубным порошком начищенных полуботинок и отступил с поклоном на шаг, церемонно свесив и разболтав длинные руки. — Ауф видерзейн!..

Муха взяла его ладонь, поднесла к губам. И до оскомины сладко укусила изо всех сил мягкую подушечку под большим пальцем. Теплая кожа спружинила, как резина, а потом лопнула со звуком раздавленной клюквы.



Она подхватила свой портфель и пошла вон.

В дверях обернулась.

Он смотрел на свою ладонь. Кровь капала на пол.

— Я забыла, Вальтер Иванович, — сказала она смущенно. —

Кто все же она такая — валькирия?

— Ты! — сказал он, стряхивая кровь с ладони. — Ты сама и есть. Береги себя, ягодка...

И вот увезли его. Как сказал, так и вышло. Дурак!

Муха на спину перевернулась. Смотрела на облака. Они бежали по небесной дороге, как овцы, сгрудившись, понуриив головы. Им было давно безразлично, куда гонит их ветер. Они были большие и знали, что ничего с ними не случится — так и будут плыть, плыть, пока не растают без боли от солнца и ветра. Или, может, потемнеют и станут дождем. Плыть ли, развеяться, уйти водой в землю — им все равно. Им ничего не нужно. Как овцам, когда они сыты и собраны в стадо. И солнцу не нужно ничего. И светить ему вовсе не трудно и не надоело, хотя, конечно, и скучно. Слепое оно. Только кажется, что смеется и радуется. Какая у слепого радость?

“Их вайс ниht вас золь эс бедойтен, — услышала она голос Вальтера Ивановича. — Не знаю, что со мной случилось. Гейне, “Лорелея”. Как думаете, ребята, кто из девочек наших на Лорелею похож?” — и смотрел Вальтер Иванович на нее, на Муху.

Предатель!

Муха повернулась набок. Легла ничком. Снова набок повернулась. Покатилась, подминая телом зреющую рожь. Как будто бы не своей волей покатилась. Как будто ветром перекатывало ее по полю.

Докатилась так до обочины дороги. Встала, пошатываясь, широко расставив ноги. Долго ждала, когда уймется вокруг бесовское круженье полей, небес и облаков, скрывших солнце. Закинула голову и плюнула в небо. В глиняный низкий свод без светила.

Дорога лежала свободная, просторная — как затоптанная на- смерть. Еще дымились тугие конские яблоки. Желтела моча в серединах коровьих лепех, роились оранжевые мушки. Словно бы остались где-то во сне навек гонимые страдающие стада, да и страх-то собственный Мухе только приснился, и уже затяну- лась под разорванным платьем рана пониже ребра, хотя и садни- ло в боку от каждого вдоха...

Дней через десять после того дня, когда увезли из Кондюши- на на войну Алешку и забрали Вальтера Ивановича, тетя Клава прислала еще одно письмо. Эшелон, в котором ехали в команди- ровку папа и мама, попал под бомбежку. Мухиных убило одной бомбой. “Приехать даже к вам не могу, — жаловалась тетка. — Плачу одна”.

А вещи учителя забрали милиционеры, через три дня после того как его увезли.

Похоронка на Алешу пришла через месяц, в августе.

И в поле, и в лесу, и на речке за стиркой, и дома повторяла про себя Муха слово немецкое — валькирия. Во сне и наяву, уста- вясь в одну точку, пока бабка не даст подзатыльник. По десять раз на дню проходя мимо его дома заколоченного, повторяла, твердила, напевала. И потом, после похоронки на Алексея, — томительно и с надеждой, находя в нем силы, чтобы вставать утром, и делать работу, и дышать, и видеть пустое небо, — **ВАЛЬ- КИРИЯ!**

И в полубреду, когда поднял ее со скамейки вокзала в Де- мянске выскочивший из эшелона за кипятком старшина Быков- ский и она наконец взлетела в небо, у него на руках, слыша Вагнеровы раскаты, как трепет, хлопанье, дрожь и свист крыльев у себя за спиной: “Как звать тебя, дивчина?” — “Вааааль-кирия- а-а-аа...”

И только после того, как чистый от слез взгляд родного генера- ла Зукова на волейбольной площадке по-настоящему освободил ее для полета, Муха узнала, что Вальтер Иванович ошибся: валь-

кирии все же и ростом повыше будут, и шире в плечах, не говоря уже о бедрах, и какую-то не то, что ли, свечку длинную или факел в руках держат, или, может, это у них такие специальные светящиеся дубины, — в общем, и до сих пор как вспомнишь, так вздрогнешь. Над Берлином их Муха повстречала: занесло однажды поначалу, опыта ведь не было никакого, ориентироваться совершенно не умела. И век бы их не знать, не видеть, не сталкиваться с ихней бандой, — тогда и до сих пор бы, может, так про себя думала: валькирия.

Красивое имя! Или это у них, вроде, должность такая — валькируй себе да валькируй помаленьку, а Вагнер тебя на весь мир прославит неизвестно за что — вот порядок-то у Гансов, не забудут человека, если подвиг совершил, даже пусть хотя бы он и не за наших сражается, а за фрицев. Ни за что бы не верила, что они и в самом деле на свете есть, если бы нос к носу столкнуться не пришлось. Кстати, и несправедливо получается, между прочим, что про них, кобылиц, музыка написана, а некоторые второй год в одиночку с Гитлером воюют тем же воздушным способом, а еще ни в одной даже газете портрета твоего не напечатано, нет про тебя ни песни, ни даже паршивого стишка в дивизионной газете, как про самого завалящего Героя Советского Союза обязательно настрочат эскренно с десятью восклицательными знаками. У них там этих валькирий целыми стадами в небо выпускают, а на всю Красную Армию не исключено, что одна-разъединственная Муха подобными приемами боя владеет, причем самоучка, заметьте. Вечно в небе одна как перст. Если не считать, конечно, той женщины воздушной, огромной, которую Муха видела как-то над ночным Ленинградом летом, в белую ночь. Очень смутно, правда, видела. Так до конца и не уверена по сей день, вправду ли это женщина и действительно ли она над Ленинградом в ту ночь дежурила. Огромная такая — жуть! Одним платком своим с высоты может, наверное, полгорода прикрыть, если захочет. Лиловый такой у нее платок, сиреневый как бы. А может,

конечно, то были просто тучи, по-особому так сложившиеся над городом, — поди разбери теперь. Но факт тот, что женщина над городом как бы склонялась, причем как бы пологом, все стреми-лась платком своим широченным Ленинград прикрыть, что ли, а может, укутать, — трудно понять. Или же, не исключено, облака, фиолетовые да розовые, так выстроились, как будто, честное сло-во, живая женщина стоит в небе, голову над Ленинградом склони-ла. Кто ее знает! Но самолетов немецких в ту ночь не было над городом, это точно. Муха нарочно запомнила. Может, и из-за женщины той — кто знает! Факт тот, что никаких, кроме нее, подозрительных, с точки зрения своего пролетарского проис-хождения, личностей Муха в небе больше никогда не наблюда-ла. Только эта дежурная да валькирии. Но если с этой граж-данкой странной, сиреневой, дело темное, то уж с валькириями-то сразу ясно: их было полное отделение, штук, наверное, восемь или девять, и все такие здоровые телки, морда у каждой девяносто на девяносто, ляжки — не обхватить вдвоем, как с ними гансовские офицера управляют в землянках, на топчанах — даже и непон-ятно, невозможно представить, бляха-муха! И несмотря, что Муха в небе запахов никаких не чуяла ни до, ни после того случая, от той компании блатной сразу на нее пошел какой-то не то ветер такой темный, не то все-таки запах — вроде как одеколоном тройным, неразведенным. И как будто иголками стало покалы-вать ей и лицо, и все тело прозрачное. Хотя, опять же, ни до, ни после не ощущала она ни пролетающих сквозь нее беспрепят-ственно пуль, ни зенитных фейерверков, ни даже самолетов, каж-дый из которых мог бы ее перерезать крылом или смолоть в порошок своим ревущим пропеллером, — и запахов от них не боялась: ни тола, ни бензина, ни динамита. А тут — вот уж воистину: нерусским духом пахнет! Как посыпались эти невиди-мые иглы — ну, бляха-муха, держись! Сразу стало ясно, какой там город чернеется внизу: да Берлин же, как пить дать! У них тут, наверное, самая и есть малина — у этих кобыл у задастых, с

дубинками. И словно бы та же воля, которая Муху в небо поднимала и вела всякий раз — без голоса и слов, но вполне даже очень понятно, — тут ей, чудачке, сразу и объяснила: поворачивайка, Чайка, оглобли. Она-то ведь навстречу им летела по глупости. Тоже и им хотела в глаза бесстыжие заглянуть, чтоб почувствовали хоть малую толику, как говорится. Но словно как тормоз внутри скрипнул: осади, мол, не пори горячку, успеешь еще им ума дать по первое число, а пока рано тебе, не справишься со всей гоп-компанией, подомнут. Фактически-то, если по правде, не успела еще подумать и догадаться, что откладывается рассмотрение данного вопроса, — как оно кто-то само повернуло Чайку на спину, лицом к луне, и понесло в обратную сторону, на восток, вот и все.

И все же после той ночи, после обещаний командования, что важное ответственное задание с настоящим риском и полной славной победой у нее еще впереди, Муха почуяла впервые глубже, чем умом, что не случайны ее сны, что готовились они кем-то давно, а конкретный срок и территориальное место подвига укажут ей те, кто поумней. И иначе, кстати, тогда зачем берегла ее военная фортуна до сего дня и часа? Могла бы оставить навек на просеке подо Мгой или отправить в Германию, в плен. И почему, давайте тогда уж разберемся, не стояла Муха в шеренге на волейбольной площадке замыкающей, как обычно? Или заранее рассчитала, чтобы справедливый, но строгий наган ткнул в живот не ее, а мирового парня Севку Горяева? Ведь смех же получается, факт! Хотя, по сути дела, его-то, Севкин-то подарок и вывел последних бойцов батальона из окружения, а то бы им тоже на просеке лечь под автоматами немецких патрульных.

Нет, этак у нас с вами, товарищи, голова кругом пойдет, как станешь распутывать, с чего все началось да к чему приехало.

Взять хотя бы тот случай на просеке. Если бы не Санька Горяев, да Севка, да комиссар Чабан, который тоже, как Севка, уже должен был через двое суток получить жуткую позорную

смерть, да если бы не старшие, как следует обстрелянные и закаленные в боях товарищи, все могло кончиться очень плохо и даже хуже. Удивительно, до чего коллектив вселяет в тебя уверенность в самый трудный момент — это как закон. Кто ты один? Никто! Ноль без палочки, правильно Сталин писал. А в коллективе ты сила, потому что товарищи не подведут. Это и в уставе приказано, и само так завелось испокон веков, даже смешно.

Но патрульные гансы, между прочим, тоже были ребята не из робкого десятка. Когда Муха услышала, уже вплотную, громкое “Хенде хох!” — и впереди, и сзади, и слева, прямо из леса, — как будто кастрюлей накрыло пятерых окруженцев, — руки ее сами собой поднялись, а лопатки свело судорогой, — точно вот-вот с двух шагов перебьет ей позвоночник экономная немецкая очередь.

Шла она последней. Впереди, не оглядываясь, только взбагровев затылком и лысиной сквозь серебряную шевелюру, руки поднял комиссар Чабан. Пятеро оставшихся от роты пехотинцев, отрезанные с трех сторон, застыли посередине просеки с поднятыми руками. Чабан выматерился протяжно, сплюнул себе под ноги, прошипел: “Сказано же было: по болоту надо! Нет — по просеке поперлись... Пи-и-з-з-здещщ!”

Последнее словцо, как будто впервые услышанное, по уху Муху огрело — аж горячо стало и самому уху, и правой щеке. И не потому, что мат. У него ведь, у слова, значение есть. Причем не мужское значение — бабье. И в тот же жгучий миг вспомнилось ей, как прошлой ночью, у костра, в двух шагах от неспящей на куче лапника Мухи сказал, между прочим, комиссар Чабан, поводя над пламенем промокнутой портянкой:

— Все б ничего, да баба вот с нами... Она еще сикуха, конечно, а все ж баба, никуда ты не денешься. А баба на корабле — это быть беде, факт...

Дыхание у нее остановилось. Муха крепче зажмурила глаза и застыла телом, чтоб не шелохнуться, не поняли бы, что она не спит, слышит.

Главное, если б Санька, дурак, ляпнул не подумав или хоть Севка, — ладно, не обидно, у них у обоих язык без костей болтается. А на Чабана она готова была молиться.

Чабан!..

Чабан — это Чабан. Батя.

Чабан ей на всю военную жизнь глаза раскрыл. Поддержал в трудный момент, не дал споткнуться. Ведь если б не он, сотворила бы что-нибудь с собой, факт. Мухе за Чабана жизнь отдать — плюнуть. А он — такие слова...

Солдаты верили: комиссар Чабан — совесть батальона.

Был он уже седой, но еще крепкий, сбитый весь, как дубовый чурбак. И живот его, строго-настрого перетянутый двумя портупейми да еще лакированным щегольским ремешком трофейного цейсовского бинокля, и красное лицо, с широкими трубами пульсирующих на лбу жил, с вываренными, без бровей и ресниц веками, налитыми как бы свинцовой скорбью выжидающего стратега, угрюмого при вынужденном, однако мудро заблаговременно рассчитанном отступлении, и гордый, обиженно дрожащий баритон, уютно, как у заслуженного вокалиста, уложенный на тройной розовый подбородок над вольготно расстегнутым воротом гимнастерки с растущим кустом седой патриаршей шерсти, — все вселяло необходимую, как дыхание, веру в близкую внезапную светозарную цель временных, а потому и терпимых тягот, потерь и стыда. И пусть пока что полная — наголову — победа над заманиваемым вглубь территории врагом ясно видна лишь ему одному, но не бойцам, истосковавшимся по рукопашной гибели во славу его стратегического гения, — каждый, кто встречал его прямой взгляд из-под набрякших чужим паникерским неверием век, вздрагивал сердцем и гнал свою слабость в пятки, в мозоли, в сбившийся ком промокшей портянки, в дыру на протертом голенище, в щель над подошвой пудового, задубелого, полусгнившего солдатского ботинка, разбитого отступленьем.

— Рродные мои! Бррратья крррасноарррмейцы! — раска-  
тывал Чабан над строем разом притихших мальчиков — и зами-  
рали у них даже пальцы преющих ног. — Верю, что устали!  
Знаю! — он шел вдоль строя, опустив на подбородок седую  
тяжелую голову с раздутыми жилами на лбу и висках. Останавли-  
вался. Смотрел поверх голов в светлую, одному ему сияющую, тра-  
гически-прекрасную даль. Проводил широкой белой ладонью по  
литой серебряной шевелюре. — Рродные! Идетт война нар-  
рродная! Священна война!..

Муха, чувствуя свою причастность, смотрела комиссару в рот,  
тихо и счастливо копала в носу. Рядом вздрагивал и хлюпал  
интеллигентный студент Санька Горяев. На губу ему скатыва-  
лась толстая, как сарделька, длительная слеза.

— Есть такое слово — ннадо! — Чабан снова ронял голову,  
замолкал надолго.

— Умеет говорить, сукин сын, этого не отнимешь, — Санька  
смахивал слезу, кричал, как будто Муха ему спину чесала особен-  
но удачно. — Академию, говорят, кончал. Кремень мужик!

Муха скатывала козявки в шарики, но клеивала их обратно в  
ноздрю, поскольку стеснялась: строй — место священное.

— Победа близка! — Чабан брал себя обеими руками за  
ремень — крепко, уверенно, властно. — Скоро погоним подлого  
врага с нашей священной земли! За горе наших матерей! За  
рраны товаррищей! За слезы детей и вдов!..

И снова голова его падала на грудь так, словно все тяготы  
солдатской жизни-смерти лежали на его широких плечах старо-  
го дуба, взматеревшего под всеми молниями века, что выжгли ему  
сердцевину до черной пустотелой горечи, но сквозь нее-то, как в  
сказке, и прет чудо-богатырская справедливая мощь земли-ма-  
тушки.

— Выпивает, говорят, по два литра в день, не менее, — до того  
исстрадался, бедный! — Санька вздыхал. — А ты, Муха, приме-  
чай, как держит себя человек, хоть и позволил. Старая гвардия.



Не то что ты, сопля, — сто грамм примешь — и пьяная в сиську, срам!..

Она молча пихнула его локтем. А козявку из носа все-таки выкатила и уронила себе под ноги, как бы нечаянно.

— Есть одно слово у нас: ннадо! — повторил Чабан. — Сапоги прохудились? Вижу! Бельишка теплого не выдал старшина? По дому истосковались? Верю. У самого серрдце дотла выжжено! Только стальная воля и боль за Ррродину! И несгибаемая сталинская вера в победу!.. А не сапоги! — рубанув воздух широкой белой ладонью. — Не слабость! Не паникерство! Кто устал, у кого нервы сдали — скажи прямо! Я тебя сам! Тут же, на месте! Вот этой самой отцовской своей рукой! — он хлопнул себя по кобуре. — Сапоги износились? Сними сапоги с вррага! Задуши его голыми ррукками! Возьми его сапоги! Автомат его возьми! Вот этой самой рруккой! — взметнув над вздыбленной шевелюрой литой кулак. — Как мы брррали в девятнадцатом году! Голодные! Ррразутые! Вшшшивые! Где же совесть твоя, советский боец? Водку тебе выдают каждый день! Где честь твоя, солдат? Прррропил?!! Прррроменял на лишний глоток?!!! Гансу поганому подарррил?!!!!

— Нет таких! — петушиный ломающийся тенорок лейтенанта-взводного.

— Тогда не скуллить! — Чабан рычал теперь, выхрипывая слова как бы сквозь нечеловеческую боль и хмельное изнеможение. — То-гда-не-по-зор-р-рить-ррря-ды! Впер-рред, оррры! Не посрррадим! Не урррроним! Не отдадим!..

Он уже трясся так, что шевелюра его раскололась, обнажив красную лысину, на две волны, сползающие, как непропеченные блины, на маленькие уши и виски. Багровый лоб, залитый потом, и все его вспухшее лицо лоснилось, как парная говядина.

— Сильно говорит! — шептал побледневший Горяев. — За таким батей — как за каменной стеной... Не бережет себя, горячая голова! У него же сердце уже, говорят, надорвано. Горит

человек, конечно... Уже ему даже доктора запретили в атаку ходить, говорят. И водки ни-ни. Ни грамма! Исключительно армянский коньяк, специально интендант привозит, два ящика в месяц как раз и хватает, дай бог здоровья...

Тягостно отупевшая, Муха уже не разбирала слов Чабана. Освобождающая глыба темной бесконечной необходимости, придавливая, утоляла смутные подспудные всплески ее беспомощной тоски, которую Муха определяла в себе как несознательность и паникерство. После речей комиссара Чабана перед строем она всякий раз надолго впадала в теплый густой покой. Покой сливал заново существо ее с непонятной, однако насущной длительностью не выгорающего в ежечасном терпении, не изживаемого, чуждого времени, — оно имело запах спирта, стрельбы, разверзшихся внутренностей. Оно словно бы скапливалось в ней день за днем, месяц за месяцем, все увеличивая давящий ком в подреберье, так что Мухе стоило все больших усилий подавлять почти постоянную тошноту.

Чувство тошноты шло не от горла, не от живота, как ежемесячно в женские дни ее пренебрегаемого теперь, как в раннем детстве, глухого тела. Мutilо Муху то от бессмысленной вечерней тишины, когда Санька и Севка курили от безделья или спали впрок, то от белого лица полной луны, разводящей по небу волны неслышного пронзительного звона, до стукотанья в висках и жгучей испарины на ресницах. Частенько зудящая пустота под ложечкой и оскомины отбрасывала ее в озноб от запаха лесного мха, или духа портянок, или уж просто сама по себе, а может, и не успевала дева усмотреть причину, так как привыкла, притерпелась. Впервые же вдруг заметила за собой эту тягостную болезнь или привычку тела не слушаться, томить, бунтовать душу в то раннее дождливое утро, когда проснулась хмельной и растерзанной, с перепутанными в животе кишками, с искусанными до крови сосками, рядом с храпящим чернолицым командиром роты, который вечером, после похорон ее первого ласкового “мужа”,

привел ее в свою палатку и приказал помянуть старшину Быковского с ним на пару. Муха испугалась, что и к ней подбирается исподволь, через боль в животе и груди, такая же грязная, как сама она, и такая же зряшная, как у старшины, вовсе не фронтовая, бесславная смерть. И тут же вдруг поняла, что за смертью она и пришла на войну. Но ведь не за такой же, бляха-муха! Пусть бы в атаке, в сплошной стрельбе, вместе с Красной Армией, лицом к врагу пасть, — но не от мутной, чужой, не вмещенной в себя боли, у которой нет на ее тело прав никаких по закону, а значит и смысла в том никому не будет — ни пользы, ни чести.

Оставив командира роты спящим, она потихоньку оделась, вышмыгнула из палатки и побежала на речку. Мылась долго. Глотала воду, хватая ее пригоршнями и съедая с ладони. Запускала палец себе под губу, терла зубы и десны, распухшие от водочного перегара. Оттирала песком и осокой пятнистые от синяков бедра, грудь, плечи, съезживаясь не от холодной воды и тумана — от вспоминаемых объятий командира. С ревнивой брезгливостью рассматривала вспухший пах, разбирала по пряжам, по штучке свои редкие женские волосы, отворачивалась сама от себя, но все чудился несмыываемый, въедливый кислый запах, более резкий и едкий, чем смрад выгребной ямы, — он шел как будто из самых недр ее тела — дрожащего, покрытого гусиной кожей мурашек, растопыренного по-лягушачьи навстречу воде и ненавистного нечистотой своей, навсегда теперь грязного и чуждого, отнятого у нее обманом и вторым вот теперь обманом, уже невыносимым, — и непонятно, что сделать нужно, чтобы вся грязь тяжелой ночи утекла по живой воде, забылась, оказалась дурным сном...

Натянув сырую от дождя гимнастерку, наскоро связав узлом порванную командиром резинку белых шелковых трофейных трусов — еще старшины покойного подарок, затянув потуже ремень обвисающих на ней галифе, она сбила ладонями воду с волос, отжала в кулак отросшие хвостики на затылке и, на ходу

по-мальчишески взъерошивая пятерней все же мокрые волосы, побежала к палатке комиссара.

Чабан сидел в белой нательной рубашке у своей палатки, под брезентовым навесом, на ящике с желтой наклейкой армянского коньяка. Он только что намылил обе щеки густой пеной, такой же серебряной и литой, как его влажная шевелюра, и уже один раз провел от виска вниз опасной немецкой никелированной бритвой “золинген”. Ординарец, лейтенант с подкрученными черными усами, держал перед комиссаром овальное широкое зеркало в черной лакированной раме.

Подбежав к Чабану сзади, Муха на миг увидела в зеркале рядом с красным и серебряным лицом комиссара свое синее лицо на зеленой кривой шейке, и влажные пряди на лбу, и черные губы, и лиловое пятно на щеке: головой вертела, когда командир роты всасывал ее кожу, ища ускользящие губы девочки.

Увидела — и отдала комбату честь. Спихватилась — и напялила пилотку. Ойкнула — и перекрестилась.

Ординарец уронил зеркало.

Стекло звякнуло, но не разбилось. В нем теперь отражалось серое небо. И край брезентового навеса. Зеркало быстро покрывалось каплями дождя.

— Простите меня! Я больше не буду! — сказалось у Мухи.  
— Я больше так не могу, честное пионерское! Дяденька!..

Комиссар засмеялся. Не выпуская бритвы, почесал себе шерсть на груди, покачивая тяжелой литой головой.

— Пошел вон, баба! — сказал он ординарцу; тот поднял зеркало и побрел куда-то, спотыкаясь, вытирая зеркало рукавом, дыша в него и снова протирая.

Муха закрыла лицо руками. Слезы быстро скапливались между сжатыми пальцами.

Чабан стал бриться на ощупь, все покачивая головой и хмыкая.

— Домой хочешь? К маме? — спросил он ласково.

— Умерла! — Муха рук от лица отнять не могла.

— Батька жив?

Она молча покачала головой.

— Зачем на фронт приперлась? Кто гнал? Кто тебя звал сюда?

Его бритва шуршала по щеке, хрустела. Срезаемая щетина потрескивала тихо, влажно и уютно. Муха не боялась комиссара, но слезы все текли.

— А? За каким рожном? Чего хотела найти? А?!

— Родина... Родину... За Родину... Умереть! — она задохнулась на миг в ожидании его торжественно-обиженных, вздымающих грудь человека слов, какие он выкрикивал обычно перед строем. Он даст сейчас полный голос — и привычно навалится утешающее оупенье, и можно будет жить дальше как придется.

— А за Родину — так чего ж ревешь? — он хохотнул коротко и густо, как после обеда.

Она немного еще подождала тех слов. Но их не было — и она вдруг обозлилась, увидев его начищенные офицерские сапоги.

— А чего они лезут все? Что я им? Не имеют права, нет!

Она наконец открыла перед ним лицо. Ткнула указательным пальцем в свои черные губы и пятно на щеке.

— А не давай! — он опять хохотнул. — Если такая недотрога — не давай и точка! Или слабо? — бритва сверкнула без солнца, оставив на красной щеке широкий голый прокос.

— А если он командир? Как же я? Он ведь и спрашивать не станет, — она вертела в руках пилотку и уже осмелилась через силу улыбнуться Чабану, понимая, что наказанья от него не будет.

Комиссар брился молча.

Муха тискала пилотку, искоса наблюдая с радостью, как он оттягивает, прищипывая между пальцами, кожу второго подбородка. И

подпирает щеку языком изнутри. И пробривает шею до самой груди, до передовых кустов седой шерсти, прущей из-под рубашки так, что грудь мужчины казалась бугристой, словно укрытая под белым полотном серебряной кольчугой из толстых крутых пружин.

Он вытер бритву о полотенце. Похлопал себя по блестящим щекам. Плеснул на ладонь одеколон, протер лицо, шею, провел ладонью по шевелюре.

— Шир-рока страна моя родная! — сказал Чабан, и Муха от удивления вздрогнула. От удивления и радости. Вот они, слова! Слова-то какие, бляха-муха!

В ушах у нее тут же запела Любовь Орлова: “Много в ней лесов, ля-ля и рек... Лесов, хы-хы и рек... Лесов, хы-хы... А, вспомнила же: полей! Много в ней лесов, полей и рек!” — еле сдерживая слезы восторга.

— Много в ней... — затянула было Муха, глядя Чабану в рот: понимай, с кем дуэтом поешь, ритм лови, бляха-муха! Ведь самая же на свете мировая песня!

— Велика Красная Армия! — продолжал он, понемногу набирая широкой грудью привычный возвышенно-мстительный тембр огневой комиссарской речи. — А женщин в армии — мммало! Ох как ммало в армии женщин, товарищ боец Мухина Маррия!..

Веки комиссара набрякли Мухиной мелкой несознательностью, ее недостаточной гордостью за честь сражаться в стальных рядах, даже в боевых действиях принимать участие непосредственно.

— Знаю, как тяжело тебе, дочка. Веррю!

Он уронил голову на край серебряной кольчуги. Второй подбородок с малиновым сочащимся порезом напрягся, как главный мускул его несгибаемой комиссарской веры. На глазах у Мухи снова вылезли слезы.

— Ком-мис-сар-рское тебе спасибо, девочка! От всего сердца спасибо! — вскинув голову, он посмотрел выше Мухи; по

крутому его зобу ползла узкая красная капля. — За то тебе спасибо, рродная, что покой даешь солдатскому серррцу. Ласку, как говорят у нас в народе, даришь. Делишься с однополчанами теплом горррячего серррца комсомольского!..

Он уперся руками в колени, снова голову уронил. Капля расплылась на втором подбородке в пятно.

— На вас кровь! — Муха сказала. — Вы порезавшись...

Подошла к нему и вытерла его кожу ладошкой. Развернулась кругом, вернулась на место, где стояла, и снова сделала полный поворот кругом, каблуками прищелкнув.

— Ррродная ты моя! — Чабан, казалось, вот-вот зарыдает, как Лукич в субботу, когда клюкнет и заводит проповедь, пока не доведет себя самого до слез. — Кровинушка моя рродная! Не легко тебе, дочка, знаю. А что делать? Что делать солдату, когда завтра в бой? А? И, может, в последний бой ему. А?! Что делать, когда сердце горит, ласки пррросит, кррровью святой обливается — за землю нашу, за слезы вдов и сирррот...

— Противно же мне! — Муха вякнула. — Мала я пока еще...

— Крепись, дочка! — он хлопнул себя ладонями по ляжкам массивным. — Слыхала ты слово такое — надо?! И если пррикажет Ррродина, мы все как один, единым стррроем, стеной нерушимой встанем...

Он смотрел не в лицо ей, а в грудь. Как будто разглядывал сквозь гимнастерку искусанные командиром роты соски. И ей было стыдно, стыдно, стыдно за синие, красные, черные кровоподтеки...

— Слабая я, — губы ее шепнули. — Тошно жить так...

Чабан вздохнул глубоко, тягостно. Но тут же вскинул голову:

— Да! Один человек — слаб! Но кол-лек-тифф... Коллектив — великая сила, дочка! Ты посмотри, какие люди вокруг тебя! Горррдость арррмии! Богатыррри! Ты только подумай, какая тебе выпала честь...

— Руки на себя наложу! — сказала она вдруг твердо и посмотрела комиссару в глаза. По спине у нее бежали мурашки. Как в тот миг, когда она просила Вальтера Ивановича об одном-единственном поцелуе. Вспомнила почему-то. Тогда забыла, а теперь вспомнила. Забыла от стыда, а вспомнила, значит, от гордости. За будущую свою гордую смерть гордясь, час искупленья заранее празднуя.

Рот у Чабана раскрылся. Но тут же сузились и сверкнули глаза. Муха не выдержала, опустила голову. И все, что в душе у нее поднялось, снова кануло в обычное беспамятство — как в болото. Знала уже, чувствовала, что если взгляд его не вынесла, то слова-то комиссарские давно...

— Д-ддааа, Мухина, — он выдохнул шумно. — Не ожидал от сознательного бойца. Н-нне-аж-жид-ддаалл...

— Да я всегда же за коллектив! — голос у нее срывался. — Я же — честное вот-пречестное пионерское!..

Муха вдруг осознала, перед кем она стоит и о чем говорит. Жалуется. Ябедает. Предаёт боевых товарищей. Как Муркатаманша в народной песне: “Ты зашухерила всю нашу малину, а теперь маслину получай!” Нет, товарищи дорогие, убить за такое — еще слишком мало будет, тут повеситься-то и то мало. В школе бы, на пионерском бы сборе, она бы такого... такую... первая бы проголосовала: в три шеи! В хвост и в гриву! Худую траву — с поля вон! Уничтожить как класс — правильно Сталин писал!

— Обиделась? Ты на кого обиделась? На Красную Армию обиделась? Опомнись, Мухина! На что руку подняла? На самое святое! Это, между прочим, знаешь, называется как? — взгляд его суженных глаз снова сверкнул, как трофейная бритва. — Дезертирство — рраз! Моррально-бытовое разложение — два! Ясно вам, товарищ боец? Или отправить тебя, куда следует? Там-то быстренько разберутся, возьмут на цугундер; девять сбоку, ваших нет! Так вопрос ставишь, Мухина? Что ж, давай будем



так решать. Сама заставляешь. Сама, учти. Я с ней как с сознательным красноармейцем, закаленным в боях, — а передо мной девка с рррамная! Так выходит, Мухина? Смотри мне в глаза! В глаза смотри!..

Муха подняла голову и тут же отвернулась: взгляд комиссара глаза ей опалил, как вспышка выстрела в упор.

— Как же ты скатилась в яму моральную, дочка? — голос его дрогнул тепло и сердечно, у Мухи слезы закапали. — Что же ты наш батальон славный позоришь? Всю дивизию под удар подводишь? Арррмии нашей боеспособность подрррываешь! — снова жестко, без дрожи. — На кого ррработаетшшшшь, мрррась?.. — шипенье выхлестывалось из глаз его, в лицо Мухе било сухим холодным огнем. — Под трррибунал захотела? Ну, пен-ний-на-се-ббббааа...

Он снова шлепнул себя по ляжкам.

Муха стояла ни жива ни мертва.

Вместе с комиссаром Чабаном на нее смотрел пионервожатый Володя. И убитый папочка, награжденный в Гражданскую войну саблей именной, — он тоже опасной бритвой брился, немецкой, как назло. И Сталин смотрел с портрета — как на пионерском сборе, когда торжественное обещание давала.

— Может, все же осталось у тебя что-то святое, дочка? — голос Сталина-Чабана снова тепло и ласково лучился из широкой, надежной груди. — Неужели же до конца растлилась душа твоя чистая? Не верю! Нет, не верррю!.. Так не позорь же ты мои седины, девонька! От всего серррца солдатского прррошу: будь человеком! Гнилью не будь подколенной! Плесенью не будь на чистом теле Аррмии нашей святой! Влейся в коллектив боевой, душой возрасти! К знамени нашему красному серрцем юным своим прррикипи навек. Правда знамени нашего — вера наша святая — да будет для тебя светом навек! Светом, Мухина! А не тьмой! Сам вождь и учитель видит тебя с кремлевских высот! — опять Чабан уронил свою голову так горестно, что уж, казалось, и

поднять не сдюжит. — Помни об этом каждую минуту, дочка! — нет, поднялась, слава богу. — Мррразью не будь! Будь вождю опорой верной! Он ведь верит в тебя. Прощает тебя и верит. Что ответишь вождю, Мухина Мария? Теперь, когда всю низость свою осознала, — как ответить должна? А? Ну? Н-нннуууу!!!

— Всегда готова! — пролепетали сухие искусанные губы, ноги ее подкосились.

— Громче, боец Мухина! Гррромче! Не слышит тебя Москва!

— Всегда готова! — Муха заорала, вытаращив на Чабана невидящие глаза и снова отдав ему честь.

— Молодец, Мурка! — он засмеялся, встал. — Только запомни: к пустой голове руку не прикладывают. Пилотку надень. Я ж знаю: наша ты, своя в доску. Я к тебе, Мухина, приглядываюсь давно...

Муха надела пилотку. Одернула гимнастерку. Посмотрела снизу вверх на большое, далеко пахнущее одеколоном лицо. Порез на втором подбородке комиссара уже покрылся малиновой корочкой. Уже и не помнилось, как только что отирала кровь, касалась кожи огромного хозяина своего — доброго хозяина. Покой шел от него — от улыбающихся глаз, дыхания мерного, от мужского запаха одеколona, коньячного благородного перегара, усталого военного тела. Ей захотелось прижаться к нему, спрятаться у него под мышкой. Как раз бы вошла — с головой утонула б. Хотя лучше бы, конечно, был он не комиссар Чабан, а просто Вальтер Иванович...

— Верю в тебя, дочка. Не обидишь солдата. Святой человек наш солдат, запомни. Золотые у нас люди. Ничего с ними не страшно, все вытерпят. Иди, дочка, иди. Свято веру храни. И помни всегда: комиссар для тебя — всех ближе! Он тебе на войне и отец и мать. А приказ его — это приказ Родины. Главное, товарищей уважай — всегда авторитет будет на высоте. А возникнут по ходу дела вопросы — обращайся ко мне смело.

Поможем, направим. Поддержим, если споткнешься. Ну, беги, воюй! — он легонько приобнял Муху за плечи, оттолкнул и подшлепнул сзади по-отцовски по заднице, еще и ущипнул для настроения.

И она побежала, улыбаясь, ругая себя и роняя сладкие слезы раскаяния. Вечно вот так, все думаешь про себя: большая уже, мол, окончательно выросла, а хороший человек объяснит все подобному — и все обиды враз как рукой снимет и понимаешь сразу, что главного-то в жизни ты до сих пор и не понимала. А все почему? Потому что главное-то не ты сама, а коллектив. Уже четырнадцать лет дуре такой в голову вколачивают старшие товарищи, а все как маленькая, как несознательная какая чудачка. Нет уж, это, чур, в последний раз было. До чего опозориться — это надо же! — мирового такого комиссара чуть до слез не расстроила, а у него ведь сердце больное... И из-за чего, бляхмуха! Подумаешь — покусали ее, синяков наставили, засосов! А если убьют его завтра? Ведь стыдно же будет самой, что ябедала комиссару на старшего своего товарища. А терпеть не умеешь военную жизнь — не лезь на фронт, россомеха чертова, фифа маринованная нашлась!..

Вечером командир роты вызвал ее к себе.

Войдя в его палатку, Муха надела на голову пилотку, отдала честь и сразу сняла ремень.

И пока он мял ее бедра, и кусал груди, и пальцами всюду лез, она видела перед собой волевое, правдивое лицо комиссара Чабана, и ничего уже было ей не страшно. Наоборот, Муха радовалась, что не подводит его дурными своими обидами и никогда не подведет, он может рассчитывать и передать товарищу Сталину... Ой, мамочки! Ой, за что же так больно-то, зачем, почему?.. Надо! Есть слово такое — надо. Н-ннадо! И — нннадо! И-иии — нннадо! И — нннадо! И — точка! Точка! То... Ой, никак — больше — нет — сил — пожалуйста — товарищ командир — потише — пожалуйста — очень — прошу — не надо — не надо

— не надоне-надоненадоненадо — надо-надо-нааа-а-а — аа-ааа-вввуу-ууббббыыыхх — пальцы во рту закусить — еще — сильней — еще, чтоб больше, чем он там? — больше, больше — больше — больше — умру — умру — умираю — умираю-ю-юоооохххнаконце-то — простите — Вальтер Иванович — простите меня, пожалуйста, — я больше не буду — Вальтер — кричать — не буду — честное — пионерское — честное — пречестное — мамочка — дорогая — за что-о-оооооо...

Разве бы выдержать, если б не Чабан?..

...И вот теперь он тоже поднял руки перед немцами. Как сама Муха, трусиха, девчонка. Как все окруженцы.

Или хитрость тактическую задумал? Надо внимательно ждать, не зевать. Гансы быстро, сноровисто обыскивали пленников. Бросали их винтовки и наганы к стволу старой разлапистой ели. Муху только обыскивать не стали, офицер отшвырнул ее в сторону от шеренги, сказав по-немецки что-то такое, чему Вальтер Иванович ее не учил и отчего патрульные загоготали, как школьники над похабной шуткой. Только Санька Горяев успел шлепнуть ее по заду, припечатав к тощей Мухиной ягодице плоский Севкин подарок в ее заднем кармане-жопнике. Шепнул еще: "Зажигалка!" — и тут же поспешно выпрямился под окриком немца, вздернувшего затвор автомата.

Враги стояли спиной к Мухе, направив свои автоматы на четверых пленных. А офицер в нарядной фуражке, задумчиво поставив ногу в лакированном сапоге на широкий низкий пень, облокотясь о свое колено, изучал, перелистывая, отобранные у окруженцев документы.

— Комиссар? — спросил он, кивнув Чабану, и, не дожидаясь ответа, продолжал листать его командирскую книжку.

Офицер еще раз взглянул, усмехнувшись, на Чабана, который уронил совершенно белое лицо на грудь, сунул его документ в нагрудный карман своего мундира, а из кармана достал сигареты

и зажигалку. Неторопливо, все так же без интереса к стоящим под прицелом пленным, он достал из пачки последнюю сигарету и бросил пустую коробку на землю. Щелкнул автоматической зажигалкой, прикурил и закашлялся. Снова оперся локтем о свое колено и продолжал изучать книжки красноармейцев.

А Муха вдруг поняла, почему Санька сказал это слово — “зажигалка”.

Две недели назад преподнесли братья Горяевы счастливой Мухе эту игрушку. Знатный подарок — генеральский.

Про маленький, жирный от белого никельного блеска, явно дамский пистолетик, найденный им в кармане взятого на дороге фельдфебеля, Севка Горяев сперва так и подумал: зажигалка. Решил сразу с форсом прикурить самокрутку — а пистолетик в упор убил не доведенного до своих “языка” — такая досада!

Своей дорогой игрушкой братья-разведчики морочили голову всей роте. Вынув, конечно, из патрончиков пули и набив ополовиненные гильзы серой ватой из твердой Севкиной “думочки”. Наигравшись, подарили дамский вальтер счастливой Мухе, хочущей с ватой в глазах и ноздрах.

— Как нарочно, тебе в аккурат по размеру этот “Валька”, — сказал Санька, ткнув Муху в бок коротким стволом пистолетика.

— Плодитесь и размножайтесь! — возгласил Севка. — Только гляди, люби его как сына, береги малыша!

Отдав братьям свою тайную, чистым спиртом налитую фляжку, — еще от первого “мужа” осталась, — Муха запеленала пистолетик в чистый носовой платок так, что дульце торчало, как личико, поцеловала в мушку над лобиком и стала баюкать, как куклу.

С тех пор и не расставалась с сыном. И любила его все сильнее. Санька и Севка быстро выучили Муху взводить курок и стрелять, чистить пистолет, заряжать его и разряжать, если надо. И дали патронов две обоймочки: в одной заряды боевые, в

другой — холостые, с ватой из “думочки”, для потехи в добрый час.

Но час добрый задерживался, и уже несколько дней пистолет у Мухи в кармане был заряжен по-настоящему.

Офицер-патрульный перелистывал солдатские книжки. Покуривал и покашливал.

Автоматчики стояли широко расставив ноги, держа на прицеле комиссара Чабана, и Саньку с Севкой, и командира роты, который тоже, как Чабан, уронил голову на грудь.

Санька Горяев, перехватив Мухин взгляд, улыбнулся ей и подмигнул. Гансы снова зарыготали, как после шутки своего офицера.

Чабан был бел. Муха ощущала всем телом, как задыхается, надрывается его больное сердце. И снова она услышала внутри себя смертельное его словечко. В правом ухе зазвенело. “Мухина — к доске!” — скомандовал Вальтер Иванович.

Муха неторопливо подошла к офицеру, даже и не взглянувшему на нее, — он переворачивал страницу Санькиной солдатской книжки, и она заметила фотографию, — достала пистолет, оттянула затвор и трижды, раз за разом подряд, выстрелила снизу в его склоненное над документом лицо. Уже видя боковым зрением, что Санька и Севка накиннулись на одного патрульного, а командир роты и Чабан другого сбили с ног: он успел только коротко пнуть из своего автомата в низкие тучи.

Общей длинной очередью Санька Горяев пришил обоих патрульных к земле. Длинное эхо просеки поиграло сухим хлопающим треском и кинуло его в небо.

— Теперь — быстро — бегом! — скомандовал Санька, подхватив с широкого пня солдатские книжки и на ходу вытирая их клочком зеленого мокрого мха.

Бежали долго. Сначала по просеке, потом лесом, по тропе. Чабан поспевал последним, но поджидать его не приходилось. Лицо комиссара стало снова багровым.

Когда ночью у костра Чабану первому налили из никелированной плоской фляжки, которую Севка успел нашарить в кармане патрульного, он молча передал кружку Мухе.

— Что вы, товарищ комиссар! — она отъерзнула от него по земле. — Так не положено!

— Выпей, Муха! — приказал командир роты. — Выпей за скорую победу. За нашу долгую мирную жизнь... Когда ко всем нам придет счастье...

Выпила. Не поперхнулась.

Немецкая водка пахла болотом.

Муха подумала и сказала:

— Вода, товарищи! Болотная, кстати.

Санька поднес фляжку к носу. Выругался, размахнулся и зашвырнул ее в кусты.

Муху затрясло.

Она заново увидела ухо немецкого офицера. Большое, чистое немецкое ухо с коричневой миниатюрной родинкой на нежной мочке.

Еле успев отбежать на несколько шагов от костра, она упала на четвереньки, и ее долго рвало немецкой водой и собственным ужасом. Уши с родинками бились перед глазами, как крылья. “Счастье... Когда ко всем нам придет счастье...”

От первого выстрела Мухи немец даже не шелохнулся. Он как будто продолжал читать солдатскую книжку русского красноармейца, не интересуясь вовсе, отчего это его нарядная, новая, на упругом обруче растянутая фуражка с лакированным козырьком в мгновение ока взлетела у него над головой, взвихрив редкие серенькие волосы вокруг пробитой насквозь лысины, и повисла на ветке той самой елки, под которой автоматчики по его приказу сложили оружие пленных. От второго выстрела он стал оседать, хотя Муха и дала промах и пуля не попала ему в рот, как первая. А последний удар опрокинул его навзничь. Кровь шла струей из третьего черного глаза у него во лбу.

В ту минуту Муха не видела ничего. Теперь же кровь летела потоком в лицо ей, в набитый горечью рот, пронзала насквозь до живота и тут же рвалась обратно, навстречу багровому мареву, застилавшему ей глаза. “Счастье... Ко всем нам придет счастье...” Муха знала: никогда. Пока жива будет — никогда. Ни на миг. Никогда ничего, кроме горькой, тошнотворно сладкой волны, на которой качается тяжкое ее тело, навсегда набухшее теперь чужой кровью, холодным огнем, черным ослепительным светом, — я не хотела — прости меня — прости — прости же — я первый раз — я больше не буду — дяденька немец — родинка на мочке уха — на мочечке теплой, нежной, живой — прости, прости — убей меня лучше! — прости — прости...

Санька Горяев поднял ее на руки, отнес в овраг, к ручью. Умывал ей лицо, как младшей сестренке.

— Меня тоже, когда в первый раз, — говорил он, снова и снова проводя по лбу ее и щекам влажной ладонью. — И всех, так положено, наверное. Ты не стесняйся, не надо, Муха. Все мы там будем. Если не ты его — значит, он тебя, сама понимаешь, Муха! Не надо. Ну, все, все, все...

“Все мы там будем...” Где?

Муха вдруг успокоилась. Потому что, на миг задумавшись об этом “там”, где все будут, все — стало быть, все вместе, верно же? — она как бы увидела краешком глаза, искоса, сбоку, а может, и не успела увидеть, но ощутить умудрилась, то ли памятью, то ли надеждой, — светлое некое пространство без боли и вражды. Победа, может, так светится издали мирово? Иная ли какая радость? Одна на всех, и всем ее хватает — вот что главное, вот что не забыть бы. “Когда ко всем нам придет счастье...”

Через час она крепко спала на сухом бугорке под сосной, укрытая Санькиным ватником.

Наутро Муха уже не вспоминала ни третий глаз у немца во лбу, ни вкус болотной воды из никелированной плоской фляжки, из-за которой на самом деле и вышла с ней вся эта пустая буза.



А когда через двое суток лесного марша пятеро окруженцев вышли к своим и ладный, подтянутый, настоящий боевой командир обнял комиссара Чабана, и каждому из пятерых выдали сразу суточный паек и разместили на ночь в сухих землянках, а наутро повезли в кузове шустрой полуторки на сборный пункт, да повели сразу в баню, да оказалась та сельская баня, выстроенная перед самой войной богатым пригородным колхозом, просторной и чистой, как будто ни окружения, ни патруля на просеке, ни самой-то войны на свете не бывало, Муха смекнула, уже в парной, на скользком горячем полке, где нахлестывали ее четырьмя вениками, ругая за худобу и бледность, две дюжие официантки из офицерской столовой, — догадалась Муха: вот это и есть то самое светлое и мирное, лучезарное, никому ничем не обязанное пространство, про которое Санька сказал у ручья: “Все мы там будем”...

В ту же ночь окруженцев, стекавшихся понемногу в поселок из лесов и болот, подняли вдруг по тревоге. Выстроили на волейбольной площадке у школы, где и была теперь не то казарма, не то госпиталь для истощенных, измотанных отступлением бойцов. Некоторые из них отъедались тут на казенных харчах и отсыпались уже вторую неделю, и дежурному командиру больших трудов стоило растолкать каждого и каждому же в ответ на его мат довести: “Генерал Зуков приехал. Будет смотр. Вставайте, генерал Зуков прибыл...” Генерала только и не хватало!..

Вновь влившиеся в курортный коллектив окруженцы успели уже послушаться дальновидных суждений о новом командующем: “Зуков порядок наведет, будь спокоен!.. При нем, при Зукове-то, мне один полковник сказывал, сразу же в наступление перейдем, через трое суток аккурат, приказ уже подписан, и самолеты в воздух подняли, даже особые полномочия дадены...” Самолеты над домом отдыха не барражировали пока, но и снаряды немецкие сюда не залетали, не дырявили воздух над головой шальные пули. Оттого, что народу в двухэтажной школе уже

набралось роты две, многим казалось, что их всех вот-вот соберут в мощное ударное формирование, с чего и начнется окончательный разгром зарвавшегося врага под Ленинградом, а там не за горами и победа.

Но почему обязательно ночью? Дали бы людям отоспаться! Чем выше начальник, тем у него терпения меньше, все бегом, все вскачь: вынь ему да положи!..

Когда Муха, на ходу застегивая воротник, выбежала на спортивную площадку перед школой, генерал Зуков уже прохаживался вдоль волейбольной сетки, в свете желтых фар своей черной “эмки”, не глядя на кривую, не по ранжиру выстроенную шеренгу солдат и командиров, топтавшихся, подравниваясь, вдоль желтой песочной бровки по краю площадки. “Смирно! — кричал некомандирским глухим голосом комендант сборного пункта, пожилой мужичок в фуражке с покоробленным козырьком. — Я говорю: смирно! Кто там еще опаздывает?..”

Муха пристроилась на левый фланг, рядом с сутулым невысоким командиром отделения, который приветливо ей подмигнул и кивнул, улыбаясь, на Зукова: вот, мол, радость-то нам привалила, а? Муха пожала плечами. На Зукова она осмеливалась поглядывать лишь искоса, как бы давая ему знать, что хоть и рада до невозможности, но место свое знает и выше головы прыгать не станет, не положено, тем более в строю. Для начальства лучшая радость, когда солдат прям и подтянут, глядит верно и строго, а не лыбится во всю харю, как некоторые жизнерадостные рахиты, — а еще с усами седыми, пожилой человек, да и фронтовик, видно, обстрелянный как следует, даже, может, еще из кадровых.

— А ты его раньше видел, сынок? — спросил Муху пожилой.

— Сам ты внучка! — Муха обиделась.

Услышав ее голосок и заново оглядев с головы до ног, старик фыркнул, мотнув головой и продребезжав губами, как лошадь:

— Тебя-то сюда откуда? — он все качал головой, глядя на Муху заинтересованно, как-то по-детски и с жалостью, как в зоопарке на больную обезьяну.

— Откуда — от верблюда! — отрезала Муха. — Много будешь знать — скоро состаришься!

Слева от Мухи пристроился какой-то высокий мальчишка с командирскими ромбиками на воротнике. Потом прибежал Севка Горяев.

На крыльцо школы вышел комиссар Чабан. Он приглаживал серебряную, смоченную только что в умывальнике шевелюру, осматривался неторопливо, по-начальнически щурясь, словно бы плохо видя и понимая происходящее, заслоненный от суеты мелких чинов незыблемым достоинством кадрового командира-старики.

Тут Муха услышала впервые голос генерала Зукова. Тонкий, как бы перехваченный яростью тенор завзятой скандалистки в очереди за макаронами был совсем не к лицу этому косопузому, кривоногому мужику с огромными звездами на воротнике. Лицо его с лохматыми бровями и длинной, острой, розово-выбритой челюстью лежало, как на столе, на широкой груди важного, неповоротливого силача Бамбулы, — рычать бы ему, а не взвизгивать:

— Надеть фуражку! В строй — быссстрррр!..

И Муха отвернулась, увидев, что комиссар Чабан засеменил, подсакивая, как новобранец, на ходу боком вывинчивая тяжелые плечи в сторону Зукова, поднося вновь и вновь широкую белую руку к козырьку фуражки. Зуков шагал вдоль провисшей волейбольной сетки, на Чабана не глядя, заложив руки за спину.

— Равняйся! Смирно! — тихо прокричал комендант. — Товарищ командующий!..

— Отставить! — Зуков махнул рукой и пошел к правому флангу шеренги, растакивая коленями полы расстегнутой шинели. Фары его “эмки” светили вдоль завалившегося назад строя,

но как ни вытягивала Муха шею, видеть генерала она больше не могла. Ни его, ни комиссара Чабана, ни командира роты, ни Саньку Горяева. Только Севку увидела: он стоял слева от Мухи, минуту назад в строй вмазался откуда-то сзади, как истый разведчик. Слева от Мухи, через одного человека. Через того самого мальчишку-командира. Поближе бы к нему перейти, чтобы все-таки чувствовать локоть проверенного боевого друга, но теперь уже неудобно вроде: генерал, кажется, не в настроении — вон как на Чабана взвизнул.

А Севка, умница, сам отшагнул назад и занял место рядом с Мухой, аккуратно чужого командирчика подвинув. Знал бы он, во что это ему обойдется!

Вдруг с правого фланга донесся мат — генеральским тонким голоском. И негромкий выстрел. По звуку — наган.

По шеренге прошла немая волна короткого движенья. Вместе со всем строем Муха затаила дыхание.

— Чего-то там не того, вроде, — пробормотал Севка.

Выстрел раздался снова. Как будто тот же самый. Такой же негромкий, деловитый. Мата не было. И снова волна — как бы общий выдох удивленья. По спине у Мухи побежали мурашки.

Стараясь не осознавать то, что было уже ясно ее одеревеневшему телу, Муха смотрела не отрываясь на слепящие фары “эмки”. Может быть, ей хотелось ослепнуть. Перед глазами пошли желтые круги. Кроме двух пронзительно польхающих фар, все расплывалось и уплывало во тьму. К горлу подступила тошнота.

После третьего выстрела Мухе захотелось писать. Старик справа опустил голову и мелко крестился. Неожиданно он сказал ей на ухо: “Передай по цепи: он стреляет каждого третьего”. Она механически повернула голову и сказала в плечо Севке: “Каждого третьего”. Он молча кивнул. Руки его повисли вдоль тела.

Муха боялась, что нальет себе в сапоги целое ведро от страха. Но вытекло по левому бедру всего несколько капель — преры-

вистой нерешительной струйкой. Подумала только: странно до чего — само течет, не спрашивает, можно ли, нельзя ли, наплевать ему — кому?!

Севку била крупная дрожь — как будто перекупался в холодной майской воде, открыл новый купальный сезон, да вдобавок еще “разжигать” пришлось первому.

Выстрелы били секунд через тридцать-сорок, а то и чаще. Когда темнота замерла и оглохла на целую вечность, Муха отчетливо поняла, что генерал заново заряжает свой наган. В карманах, значит, патроны носит, знает, что много потребуется.

И снова выстрел. И опять. Вскрик, мат — и выстрел.

— Если меня убьет, — заговорил Севка, но дрожь не давала ему продолжать. — Если меня убьют... Если меня...

Он схватил Муху за рукав, возле локтя. Пронзительный мороз от его пальцев резанул ее по руке, в плечо бросился, окатил напрягшуюся грудь сыпью жгучих мурашек.

— Фамилия! — донеслось справа.

Голову повернуть Муха не могла. Снова потекло по левому бедру. Горячее.

— Где твоя рота, Савичев? — голос генерала резал темноту без усилий. — Где — не слышу! Громче говори!

— Полегла рота моя подо Мгой, товарищ генерал...

— Почему сам жив остался? Предатель!

От выстрела уши у Мухи заложило.

Севка икнул.

Старик справа вздохнул и пробормотал:

— Прими душу невинного раба Твоего Савичева, Господи!

— Фамилия! — режущий голос справа еще ближе. — Сколько орудий врагам оставил, артиллерист? Громче! Умел немцам помогать — умеи и ответ держать перед Родиной, трус!

Тишина. Выстрел.

Ноги у Мухи подкосились. Рука старика поддержала ее за плечо.



будет снова идти и стрелять. Чтобы его брюхо под португеей всегда оставалось тугим, полным. Он уверен, что вся выпитая кровь останется в нем навек и даст ему вторую жизнь. Третью жизнь. Десятую жизнь.

Сколько ему нужно убить солдат — вражеских и своих, — чтобы стать бессмертным? Он один знает наверняка. И станет бессмертен — на гранитных пьедесталах, на гипсовых тумбах, на страницах книг и на экране кино — на все времена. И никогда, никогда не кончится шеренга, не кончится война. Если сейчас не выскочит из заднего кармашка-жоппника с маленьким, теплым от ее замерзшей ягодицы пистолетиком Мухина рука: она сама уже отвела за спину свой локоть и хлопнула по карманчику, проверяя, на месте ли сонный увалень Валек.

Чтобы не выдать себя Зукову взглядом, Муха опустила голову, не слушая больше его матерную трель. На секунду голосок командующего пресекался — словно захлебнулся жаворонок синей глубиной. Муха двумя пальчиками сняла кожаную петельку с вогнутой мужской пуговицы жоппника.

Выстрел ее оглушил. Муха отдернула руку, на долю секунды решив, что верный Валька не выдержал, пальнул без команды. Как бы нежданчик перданул.

Севка Горяев рыгнул и длинно выматерился. Голос его медленно переходил в стон и писк. И так же медленно вытягивала шею Муха, уже видя, как быстро чернеет у него на животе гимнастерка, но еще не понимая, что с ним случилось, чем и как испачкал Севке живот командующий. Плюнулся, что ли? Верблюд!

Зуков сделал шаг вправо, в сторону Мухи.

Севка повалился на колени, упал. Подвернувшейся головой он ткнулся в то место, где секунду назад стояли сапоги Зукова. Пилотка съехала с его головы вперед и осталась лежать лодочкой на песке.

На макушке у Севки медленно распрямлялись длинные русые волосы. Он все не хотел стричься, все отращивал шевелюру “Под

Маяковского”. Часто причесывался, смачивал волосы водой, и чертыхался, прижимая вихры пилоткой. А в тот день, когда подарил Мухе пистолетик, волосы его были смазаны трофейным бриолином — как у американского фон-барона в белой манишке из фильмов Чаплина Чарли. Весь взвод над ним потешался, а Санька брата обнимал, облизывал ему затылок и фыркал, как кот.

Мертвые волосы Севки жили. Они поднимались, выростали в жесткую щетку — какими и были на самом деле, как он их ни приневоливал ради фасона. На пояснице у Севки, чуть выше ремня, гимнастерка была прожжена пулей. Вокруг отверстия — коричневое пятно.

“Прости меня, Севка!” — кто-то сказал за нее у Мухи внутри. Она снова потянулась за пистолетом, уже спокойно припоминая, достаточно ли спустить предохранитель или надо затвор оттянуть.

Все дни в окружении пистолет у нее был на взводе. На взводе было подгоняемое прерывистым дыханием сердце. Но за вчерашний день в лесном лагере и после ночи детских снов на койке в бывшей школе ржавая пружина в ней ослабла. Даже сейчас, после выстрела генерала Зукова, глядя на шевелящиеся волосы Севкиной шевелюры, она не могла собраться в комок страха и злобы, как следует для боя, чтобы точно отражать и посылать смерть... Взведен или не взведен?

Командующий сделал еще шаг вправо. Муха смотрела на его сапоги, освещенные фарами “эмки”. К высоким голенищам прилипли влажные травинки. Муха смотрела на крайнюю травинку — трилистник заячьей капусты. Она так подробно, так полно ощущала ее бархатистые мягкие листочки, острый салатный цвет, нежный свежий вкус с легкой кислинкой, что вдруг захотелось нагнуться и снять с вороненого сапога строенный листок, поднести к губам. Положить его под язык и закрыть глаза.

От этого ей стало смешно. Напрягся низ живота, смех вскинулся к горлу, и Муха выдохнула короткое утробное ворчанье.



Вздрыгнула плечами, не понимая и страшась своего внезапного смеха.

А потом она все поняла. Волосы-то у Севки шевелятся, так? Значит, он живой, только притворяется. И командующий генерал Зуков притворяется, конечно. Патрончики-то у него в нагоне холостые, как пить дать. А гимнастерку на спине Севка порвал в лесу, когда драпали бегом с просеки, где остался смотреть в небо черным своим третьим ненужным глазом убитый Мухой немецкий патрульный офицер с красивым, ни в чем не виноватым ухом — и родинка на мочке такая миниатюрная.

Муха вышла из строя. Наступила сапогом на откинутую руку Севки. Он не шевелился.

— Вставай, поднимайся, рабочий народ! — приказала она. — Ну, ладно тебе, мудило, вставай! Пошутили — и хватит. Уже и не смешно даже! Давай-ка, а то Вальтер Иванович заругает. Слышь? Вставай, вставай, засранец! Товарищ генерал, ну прикажите же ему, бляха-муха!..

Она обернулась к Зукову, вскинула на шутника смеющиеся синие очи. Выгнув кокетливо шею и спину, отключив тощей зад.

Командующий смотрел на Севку. Рот у него был открыт. Отвисшая треугольная челюсть со вмятиной в середине подбородка, дрожа и срываясь с шарниров, выжевывала хрипящие, шершавые обрывки ругательства.

— Товарищ генерал! — Муха метнула в него искоса убойный взгляд записной кокетки трехлетней, выклянчивающей конфетку с праздничного стола. — Ну же, дядька Зуков, еж твою двадцать!..

Лицо его разом выбелилось и стало сразу же буреть, как бы набирая под лиловой кожей подспудный взрывной багрянец. И так медленно-медленно, словно вздымал он на плечи непомерную тяжесть, командующий подымал голову, все не отрывая взгляда от узкой спины пробитого им насквозь. Но вот, столь же неспешно и томительно, уже пунцовый лицом, как в хорошей

баньке после седьмого пара, он стал поднимать свои набухшие веки на Муху.

В глазах его голубых стояли, как стекла, слезы.

— Мамочки! — крикнула она, и схватилась обеими руками за горло, и оцарапала себе шею, отдирая невидимую удавку, захлестнувшую ей дыханье.

И упала лицом в траву. И задохнулась густым зерном песка, влажного от Севкиной крови.

Когда Муха очнулась, ни генерала Зукова, чье строгое, но справедливое лицо плачущего за всех страдальца горело у нее в сердце, давая приятное тепло по всему телу, ни его черной “эмки”, ни убитых “предателей” на волейбольной площадке не было. Гимнастерка ее была расстегнута, на голой груди лежал чей-то носовой платок, мокрый, противный.

— Сколько гадов он убил еще? — спросила Муха склонившегося над ней старика с седыми усами.

— Ты последняя была. Ты упала — он только плюнул — и в машину. А убитых даже фамилии не записал.

— Собаке собачья смерть! — Муха зевнула и потянулась. — Севку вот только жалко, ни за что подвернулся под горячую руку. Но это ж закон, все говорят: лес рубят — щепки летят. Даже и Сталин сам неоднократно раз подчеркивал, — она уже застегивалась, протягивая старику ненужный мокрый платок. — Спасибо тебе, дяденька, хорошо я выпалась. Только сон-то был про то же самое: висю над вами всеми, над площадкой этой, и будто вижу, как Зуков, лапочка такая, в машину садится, как убитых уносят, как ты меня поднимаешь...

— Не ври! — старик удивился. — Зачем напрасно болтать? Грех!

— Чего грех-то, если видала своими глазами? Летаю я, значит, над вами, а ты у Севки из кармана платок этот вытаскиваешь, мочишь его из фляжки и мне на грудь — ляп! Что, скажешь — вру? — Муха вскочила, подбоченилась.

— Свят-свят, чо на свете Божьем творится! — старик перекрестился, глядя на Муху с опаской.

— Свят-свят! — передразнила она. — Да из вас всех один только он по-настоящему святой и есть, если хочешь знать, — генерал Зуков. Сам стреляет, а сам плачет — видел? Ведь это же понимать надо все-таки, деревенщина!

— Царство Небесное мученикам! — все крестился старик.

— Неужели не понял еще, что бога никакого нет нигде? — Муха засмеялась. — А еще партийный небось!

— Партию тоже Бог дал! — сказал Плотников Осип Лукич. — И Ленина — Бог. И Гитлера. И Сталина. И генерала твоего святого, ни дна б ему ни покрышки. И тебя мне Бог послал, потому только и остался я живой, что ты в обморок шмякнулась. И ты, значит, дочка, тоже живи. Оставайся при мне. Как у Христа за пазухой будешь всю войну...

И он поцеловал Муху в макушку — как бабушка Александра...

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

*В которой товарищ Сталин воюет не выходя из кремлевской звезды, куда ему регулярно подвозят на лифте горячий суп, а Муха сражается в небе блокадного Ленинграда за Родину и Люсю, но вновь не может исполнить секретный приказ генерала Зукова.*

Скорость в ту ночь у Чайки какая-то имела место неимоверная, аллюр три креста, буквально. Причем, если честно, сама не беспокоилась ни о скорости, ни о направлении в небе, — само собой, без усилий, без обычного нетерпения, леталось ей и леталось себе. Уж думала даже, все равно, мол, куда занесет, хоть бы и к черту на куличики. Устала, бляха-муха. Готова была даже и к тому, что вдруг окажется опять над Берлином и растерзают птичку к чертовой бабушке серые злые немецкие тетки с дубинами, — плевать, будь что будет. Ни ярости, ни радости боевой, ни пыла в себе не чуяла — одну пустоту без дна. Неслось и неслось сквозь нее небо, помигивали внизу, на темной осенней земле, редкие огоньки, а потом и вовсе повернулась Чайка на спину и на звезды воззрилась, не помня имен созвездий и не примечая своих путей.

Услышав голос генерала Зукова, она зевнула и перевернулась лениво на живот. Ответить, отрапортовать как положено забыла. Подумалось вдруг: да ведь сон же это — ну и пускай. Сон. И всегда был сон. И нечего понапрасну во сне психовать, все само собой как-нибудь утрясется, ведь бесполезно дергаться, когда ничего фактически от тебя не зависит. Как ни крути, обернется все не по воле твоей индивидуальной, а так, как прикажет начальство. Ну и дрыхни себе, россомаха, не воображай, не бери на

себя лишнего. Ни разу в жизни не было еще никакого проку от личной твоей дерготни и недисциплинированной инициативы.

“Чайка! Чайка, ответь! — генерал вроде как заволновался. — Где ты там, Чайка? Я — Первый, Первый!..”

“Первый, слышу, что Первый, не глухая”, — отмахнулась она, потягиваясь и снова зевая.

“Смиррррр-ннаааа!” — гаркнул генерал. — Как стоишь?! В мать твою, в корень, в рыбий глаз! Матку вырву!” — никогда так не охальничал, культурный же ведь мужчина, вроде, выбритый.

“Есть — матку вырву!” — она подтянулась, собирая свое студенисто-туманное тело в заостренный снаряд, и взяла направление на голос. Представляя себе, какую все-таки смачную оплеуху отвесил бы генералу Вальтер Иванович за подобное обращение с девушкой.

Генерал продолжал связь уже спокойным голосом. Понял, видимо, что на сей раз палку перегибать не следует.

“Чайка, видишь объект?”

“Есть объект!” — она уже действительно видела свет над родным городом. И чудным каким-то духом свет тревожный, мерцающий, как чешуя огромной рыбы, потоком серебряного молока полился вдруг в нее, выстилая прямыми лучами кратчайший путь. Наполненная легким сияньем, она ощутила себя как бы внутри сияющего шара, скользящего по лучевой магистрали к Ленинграду. Полет становился легче, а тело изнутри закипало, как пузырящимся газом, бодрой боевой злостью. “Вижу, товарищ Первый! Разрешите идти на сближение?” Столбы прожекторов над городом — все ярче в осеннем холоде, как стволы прямых молодых берез.

“Спокойно, дочка! Внимание! Включаю форсаж!..”

Свист в ушах. Пространство ночи натягивается на Чайку, как черный чулок. Купол света над Ленинградом — ледяная гора. Не промахнуться бы снова мимо шпиля, бляха-муха!..

“Чайка, Чайка! Выходим на цель! Ни пуха ни пера тебе, дочка! Вперед!..”

Спиралью вокруг радужного высоченного шлема — быстрее, все быстрее... Свечой в высоту — рраз! Лихое сальто и, сложив, как ныряльщик, голубоватые расплывчатые ладони, — только не на топчан опять, миленький боженька, только бы не на топчан!.. Вот оно сейчас уже... Уй! Уй-юй, бляха-муха! Уй-ю-ю-ю-ю-ю-юй-ййййй-иххх!..

Проскочила! Вот это номер! Вы видели? Прорвалась-таки! Не зря, значит, доверяли, Чайкой назначили недаром, а? Были бы тут рядом генерал Зуков со Сталиным — обоих бы расцеловала от счастья, к чертовой бабушке! Ведь с первого раза же, а?!

И — будто колокола поднебесного свод — медным и золотым голосом славит явление Чайки над Ленинградом радужный купол, озаряясь торжественно в ее честь долгой медлительной волной лазоревых зарниц. И зори, всплывающие раз за разом у нее над головой, окатывают Чайку теплым дождем нежной благодарности, материнского бескорыстного счастья.

Забыты усталость, обида, страх. Только радость. Только полет.

Под ней вырастает, приближаясь, широкий темный город, — всматриваясь в Чайку горящими глазищами своих прожекторов, польхая рваными ранами пожарниц. Бахают взрывы бомб, и навстречу ей рвется прогорклый дым, подгоняемый ударной волной. Полет ее становится медленнее, ровней. Уже видно, понятно: здесь самый центр Ленинграда. Черная, как небо, Нева с мостами, а вон — полукруглая Дворцовая площадь и Петропавловка, прикрытая маскировкой. И зенитки на набережной: огонь выхлопывается из длинных стволов очередями вспышек, и вереница снарядов, пролетая совсем рядом с ней, обдает Чайку ледяной волной: это спешит будущая смерть каких-то летчиков-гансов. Дева ухитряется тронуть на лету последний, замыкающий снаряд зенитной очереди, и, ни ожога не чувствуя, ни иного ущерба для своего невидимого, всепроницаемого тела, не может не расхохотаться всем своим существом, осыпая в ночь голубые искорки неслышной своей нежной радости.

И теперь, подлетая на воздушной волне от пролетевших снарядов, Чайка вдруг поняла, что стала взрослой. Совсем уже взрослой, окончательно, как мечтала всегда. Ведь каждый в детстве мечтает стать большим, верно? Но пока ты маленькая, как ни старайся повзрослеть, — хоть каждый день вырывай себе ниткой, за ручку двери привязав, зубы молочные, хоть всему двору поголовно колоть себя разрешай булавкой в попу голую, — ведь по неделе, бывало, сидеть не могла после тех испытаний терпения, — все равно, раньше времени не вырастешь. А теперь вот даже испытывать себя не приходится: никаких не ждет никто доказательств, что любишь Родину и умереть готова всегда с радостью. Наоборот, она же, Родина, и требует, чтоб зазря свою жизнь ты не тратила, под пули даром не лезла. Только если подвернется стратегическая необходимость амбразуру там какую-нибудь пузом заткнуть эскренно, как герой Александр Матросов, — вот бы с кем, кстати, переписываться хотела, а не с поэтами из Ашхабада, — или, допустим, на самолете горящем врезаться в грузовик врага, — гораздо, между прочим, красивее и шуму больше, — а просто так и не думай, ни-ни! Жизнь ведь твоя, солдатская, тоже казенное, фактически, имущество, как винтовка или патроны, — каждый заряд, значит, береги для победы, а кто транжирит народное добро — просто предатель и враг. Но если доказывать не надо, что ты — свой, что всегда готов, пусть только прикажут, тогда, конечно, человеку спокойно и хорошо, то есть, значит, он уже взрослый. Потому ни страха, ни слез не замечала за собой уже давно, — с той ночи в сорок первом, когда впервые взлетела над землей. Потому-то и выбрал тебя в Чайки генерал Зуков — за бесстрашие. Не исключено, кстати, что вся эта история на волейбольной площадке для одной цели и была устроена: тебя проверить. Ведь даже сам Вальтер Иванович верности Мухиной верить не хотел, сомневался в ее моральной стойкости. Теперь-то уж все на свете навсегда убедились: можно Мухе доверять пока. Потому и раскрылся, принимая тебя,

росомаху, купол света над городом, который доверено тебе, чудачке, спасти бесслезным своим бесстрашием, цени, бляха-муха!..

Со стороны запада, от остывшего и спрятанного, как в ящик, заката, и одновременно с севера, от Большой Медведицы, наколотой в небе как расположение огневых точек на командирской карте, налетают на город две эскадрильи черных бомбардировщиков. “Юнкерсы” и “фокке-вульфы”, Чайка силуэты их знает отлично, ни за что не спутает с нашими, за десять километров по звуку различит. Сегодня же гул моторов у гансов какой-то особый, и она замирает на миг, стараясь понять, черный ли ветер тому причиной, или полученный летчиками особый приказ, или все-таки, наконец, летит в общей стае и черный дракон, и тогда сегодняшней бой может стать последним для нее самой тоже — либо будет последним в этой войне — победным. Поэтому нужно обязательно успеть перед боем заскочить домой, к Люсе, — хотя бы на минутку. Вдруг больше увидеться не придется? Да и вообще, просто проверить, как она там, бедненькая... Она ведь в квартире одна-одинешенька теперь осталась, буквально, некому даже убрать за ней, дать напиток, доброе слово сказать, — жуткое дело. Правда, Митляевы, пока не уехали в эвакуацию, все же таки немного присматривали за ней, не до конца, значит, совесть потеряна. Еще на позатой неделе чистенько все было у Люси, никакого запаха, да и сама чистенькая, спит себе в постельке, умывалась на ночь, не поленилась, а это ведь первый признак, что организм ее миниатюрный борется за жизнь, давно известно. И замок на буфете, теткой еще навешенный, как висел, так и висит с августа сорок первого, даже не пришло в голову соседям, что Люся оттуда сухари через заднюю стенку берет, не допетрили посмотреть, еще и сами ее подкармливали из уважения к возрасту, сколько раз у нее в миске шкурки колбасные видела — вот чудачки-то! А дней двенадцать назад, когда в последний раз Ленинград изнутри снился, узнала Муха, что Митляевы все же убралась, вырвались из блокады, как начальству и полагается, —



бросили, конечно, Люсю, как и следовало ожидать, сволочи еди-ноличные. Но уж тут осуждать людей нельзя: у них два лишних рта дармоедских: Любка да Верка. Прожорливые такие близня-та, неважно, что дошкольницы еще, — аппетиту, кстати, людей не в школе учат, это от природы талант. Они и до войны такие были: целый день по двору с бутербродом гоняются, а попросишь кусить — фиг. Причем, бутербродище у них у каждой персо-нальный. Нет бы один на двоих, чтоб с разных концов откусыв-ать, — ведь интереснее же так, верно? Нет, у этих единолични-ков все должно быть индивидуальное, и зубная щетка даже, и полотенце, — не говоря уж вплоть до колбасы, как видите. И откуда такие люди берутся в нашем советском быту? Мещане, буквально. Хотя надо, конечно, честно признаться, что Люсю они никогда по-настоящему не любили. Она к ним душой, быва-ло, с открытым сердцем, такое им иногда разрешала и не серди-лась, за что Муху бы, например, никогда в жизни не простила: слабость имела к маленьким детям, своих-то не было, одинокая. Бывало, только посмотрит искоса на этих дур с необхватными ихними бутербродищами, покачает головой, проглотит слюну, но никогда не станет просить, унижения не допустит: лопни, но дер-жи фасон, как говорится. А эти — ну прямо нарочно, как назло, без бутерброда в зубах и в комнату не войдут. Муха, конечно, к маме: “Намажь с колбаской мне, мамуль!” — “Потерпи, дочень-ка, скоро ужин. Нельзя тебе потакать. Привыкнешь питаться в три горла — какой тогда муж тебя прокормить сумеет? Одна будешь век вековать — как наша Люся...” Очень Муха этого боялась — такой старости, как у Люси. Вот дурища-то была, а? Да сейчас-то бы не задумываясь отдала все на свете, чтобы жить, как Люся тогда жила, — у добрых людей, которые только и делают, что уважают тебя повседневно да стараются организо-вать питание повкусней. А что при этом нашлись бы, конечно, единоличные какие-нибудь близнецы, которые обязательно при тебе будут чавкать тройным своим бутербродом — сыр на кол-

басе, да сверху опять колбасина, — ну так не может же все до конца быть чудесно, товарищи дорогие, надо же понимать! Тем более, что питалась Люся и так фактически мирово, не хуже Любки с Веркой, а если косилась на ихний вонючий сервелат, так ведь не с голоду, а от обиды. Но уж такую-то обиду снести — одна бы радость теперь, это, будьте уверочки, теперь-то уж Чайка ученая, разбирается, что хорошо, что плохо, жизнь научила, бляха-муха!.. К Люсе, к Люсе скорей!

Нет, ну до чего же здорово все сошлось — как нарочно! Санька Горяев тоже питерский, с Лиговки, а как на фронт попал, так и не прогулялся больше ни разочка ни по Невскому, ни по набережным, ни к родным на Лиговку не заглянул, а письма от них, между прочим, перестал получать еще зимой сорок первого — жуть!

Вот и Чайке мог бы вполне генерал Зуков, как товарищу надежному, во всех отношениях проверенному, поручить, например, хотя бы Москву, где внутри самой большой рубиновой звезды на Спасской башне Кремля сидит сейчас товарищ Сталин, трубочку покуривает, несмотря на ночную обстановку. Или доверил бы ей какой другой стратегический объект по своему вкусу — хозяин барин. И в этой связи как раз очень удачно получилось, что звезда над Кремлем покрепче любой брони, вся рота в курсе, Сталин там как у Христа за пазухой, можно смело утверждать. Ему прямо в звезду туда и супчик горяченький, с пылу с жару, доставляют с кухни под охраной из двух часовых, на скоростном причем лифте автоматическом, с паровым специальным подогревом, чтоб не расстроился вдруг желудок от сухомятки, — очень влияет все-таки. Это москвич один рассказывал, под большим секретом, у него брат в самом Кремле работает — водопроводчик. Вот закусит вождь, отдохнет чуток — и обратно с Гитлером давай бороться. И кнопки разные там секретные нажимает у себя под столом и педалями работает, когда руки заняты, — ведь необходимо одновременно и приказы подписывать, и табачком

трубку набивать, — разрывается человек, буквально, на все сто фронтов, пот со лба вытереть некогда, — и по телефону приказа-ния срочные отдает генералам своим стоеросовым, и по телеграфу — кому как. А если какую секретную самую команду есть необходимость отдать эскренно, то он ведь и посигнализировать может, не сходя с места, — все той же самой своей рубиновой звездой, в которой сам и дислоцируется день и ночь: просто свет там у себя потушит — и включит обратно выключателем черненьким мини-атюрным, потушит — и снова хоп! Чем тебе не азбука Морзе? Почисти, чем у связистов! Причем, говорят, она этим светом рубиновым на сто километров бьет и дальше, хуже любого прожектора. Три раза подряд мигнет товарищ Сталин на всю катушку — тут уж даже самый трусливый генерал, что полгода в обороне просидел, дармоед такой, затылок себе чешет: хошь не хошь, подымай полки в наступление, причем уже никого не волнует, сколько у тебя, пораженца да растратчика, патронов осталось, да на каких пятьдесят процентов не укомплектована каждая рота, Сталину сверху видней, он уже давно за тебя подумал и все взвесил, так что не тяни резину, так и так тебе амба, любой в такой ситуации предпочтет умереть героем, чем быть расстрелянным за дезертирство и паникерство, верно? Ну, а если сигнал у кремлевской звезды одиночный, — значит, теперь отходи на заранее подготовленные позиции, как полагается, без паники, кончен бал, погасли свечи. Несмотря, что, может, уже вклинился какой не в меру ретивый маршал на вражескую территорию и гонит галопом на Берлин — шашка наголо! — нет, казачок, осади, охоломи малость, пускай остальные войска подтянутся, не ломай строй, окороти свой единоличный нор, не отрывайся от коллектива, бляха-муха! Сталин нас как ведь учит? Один в поле не воин. Он-то уж знает, будьте уверочки, каким полком, какой дивизией да когда именно пожертвовать в стратегических целях, чтобы противника вконец измотать и взять в клещи фактически без потерь боевой техники.

Так и поддерживает товарищ Сталин, благодаря кремлевской сигнализации, хоть какой-то минимальный порядок в войсках, а то без него бы как дети малые давно бы все разболтались на дармовых харчах: кто в лес, кто по дрова. Ведь каждый генерал спит и видит, как он самому вражескому фюллеру лично наганом в пузо тычет, а тот уже и хенде-хох сделал прямо себе в штаны с лампасами, и лопочет без подсказки, по собственному почину: “Гитлер — капут!” Если бы не сидел товарищ Сталин так высоко надо всеми горизонтами, генералы бы давным-давно расплозились, как тараканы по кухне, — один на Японию двинет без спросу, у него с главным самураем личные счеты, другому Индия ни в чем не виноватая пока, приглянулась во сне не в добрый час толстыми своими дрессированными слонами, или там Арктика с торосами, — офицера ведь, что с них взять! А как нам потом с якутами ихними индейскими управляться, чем их кормить в плену, да где агитаторов столько набрать, чтобы всему человечеству придурочному разом всю политграмоту вбить в башку его чугуною, — как и следовало бы давно на самом-то деле, между нами говоря, — да где, кстати, разместить всех, ведь даже в самом большом зоопарке не рассадишь всех у кормушек, — это, поихнему, пусть сам Сталин себе голову ломает, да? Нет, товарищи дорогие, маршала-генералы лампасные, рано еще пока вас на самостоятельный жизненный путь выпускать, плохо вы Сталина читали, невнимательно. А между прочим, у него в красной книге давно записано, причем вот такими аршинными буквами, к тому же золотыми: “Не знаешь броду — не суйся в воду!” Ясно вам? Глаз да глаз за вами, как в песне нашей поется. Поэтому и приходится пожилому занятому человеку из-за отдельных несознательных товарищей день и ночь пребывать на бессменном посту, — как будто нет у него других забот, кроме вашей вшивой политической близорукости. Он-то, будьте уверочки, всех вас насквозь видит, не хуже Чайки. Потому что от разболтанности до измены один шаг — это закон. Сегодня ты портянку плохо

намотал, а завтра у тебя на марше мозоль натрется, — вот ты уже и запросил у врага пощады фактически, сам и не заметил, как в предатели попал, потому что упал с дороги — и больше ни с места, хоть режь, как с Мухой самой, между прочим, в сорок первом имело место, в сентябре, при марш-броске. Санька, спасибо, на закорках ее до привала дотащил, а то так бы расстрелял командир роты — как изменника родины, он уже и наган вытащил, — строгий мужчина, справедливый, любил, чудак, отставших пристреливать, это его хлебом не корми, тем более если уже все равно человек ранен и является по сути дела из-за такой своей недисциплинированности уже вражеским диверсантом. Ведь если задерживаться из-за него, враг может запросто догнать, тогда всем каюк. Так человек, сам того не замечая, активно способствует действиям противника, осложняя собой положение всего подразделения, тем более если и патронов на всю роту пять штук — только и хватит с отставшими разобратся без шума. В общем, как ни крути, а от измены человеку никуда не уйти, всегда она в тебе наготове сидит и только часа своего ждет, чтобы наружу вылезти и подвести коллектив, — доказывай потом, что не сам себе ранил ногу мозолем, — портянку-то сам заматывал, факт, — значит, уже тогда, заматывая, планировал свое черное предательство. И никто от этого не застрахован, любой герой может в каждую секунду оказаться самым подлым изменником, а ты будешь хлебать с ним кашу из одного котелка и ничего об этом не знать, потому что он и сам о своем предательстве коллектива не догадался, только еще начала сбиваться в комок у него в сапоге портянка, а марш-бросок, может, только завтра объявят, вот и поди знай.

Но у товарища Сталина на измену нюх особый: вон сколько он генералов-изменников перед самой войной на чистую воду вывел — жуткое дело! Своими прикинулись, весь народ обмануть думали, Гитлеру продались за лишнюю пайку — вот чудачки! Смешно даже! Ведь любой бы ребенок сообразил: как тебя гене-

ралом назначили — сразу же надо идти признаваться, в тот же день буквально, — все равно ведь расстреляют, так и так, неужели же не лучше с чистой советской совестью исполнить свой долг? Нет, товарищи, рановато мы вам доверять стали, на совесть вашу предательскую понадеялись, а нутро-то у вас гнилое, как у всякого офицера. Хорошо еще, что вовремя вас раскусили. Потому что правильно, исключительно дальновидно оценил ситуацию товарищ Сталин: с вами чем хуже, тем вы лучше, это закон. Он, кстати, этот закон сам и открыл, между прочим. В красной книге так до сих пор и записано: “Лучше меньше, да лучше”. Вот и приходится бедному старенькому вождю круглосуточно в дозоре дежурить, всматриваться глазом своим орлиным, где еще затаился враг, откуда ждать как можно скорее удара предательского в спину. И в этой связи лучше уж пусть поменьше вас, военспецов, останется на солдатском горбу, да только лучших мы согласны до самой победы на закорках тащить, раз уж так полагается, что без генералов все-таки воевать не положено. Хотя, если честно, лучше бы их всех на всякий пожарный случай без канители уничтожить, как класс — больше бы толку было, порядку больше. А в качестве спеца на все бы фронты вполне хватило одного-единственного генерала Зукова — где еще мирового такого найдешь? Он бы за всех управился, будьте уверочки. Если уж невидимым способом командовать насобачился так ловко всеми наличествующими чайками в одиночку, — еще не считая, заметьте, тех войск, которые и невооруженным глазом увидит любой дурак, — уж вдвоем-то со Сталиным они бы до каждого рядового бойца довели бы любой приказ, хотя бы даже и самый эскранный, факт. Так бы и поделили между собой обязанности: товарищ Сталин один всех видит повсеместно через оптическую свою звезду Кремля, а генерал Зуков команды его и приказы доводит до каждого, поголовно, современным невидимым средством ведения войны. Вот бы и настал у нас новый полный порядок и с боеприпасами, и с резинками для трусов.

Да и, кстати, Мухе бы какое облегчение — без никаких лейтенантов сопливых, да капитанов суковатых, да полковников жирных и остальных горе-вояк. Удивительно даже, как это до сих пор Сам не додумался, сколько бы он Мухе времени сэкономил для ночных рейдов таким справедливым решением, да и себе бы нервы поберег, что немаловажно для кадрового командира. Ведь видит же прекрасно, всех и каждого наблюдает из стратегической своей звезды — для того и посажен в нее. Сам же себя фактически и назначил самым единственным всеясновидящим насквозь, на страх всем врагам поголовно — и нашим генералам, и гансовским одновременно. Причем ни карта ему там, в звезде, не нужна, ни компас — все видно и так, на все четыре стороны горизонта. Не выходя из прозрачной рубиновой штаб-квартиры, товарищ Сталин наблюдает через мощные оптические перископы территориально всю Европу, — как на ладони, вплоть до самого рейхстага включительно. При этом вокруг его любимого наблюдательного пункта для охраны целых сто штук скоростных истребителей высшей марки круглосуточно барражируются, у каждого по три пушки, да по пять пулеметов автоматических в придачу, еще и с трассирующими пулями, между прочим. Побарражируются, побарражируются — и садятся на Красной площади передохнуть, а вместо них пока другие сто барражируются, пока бензину хватит. Так у них и вертится колесо без передышки. Потому-то в песне народной любимой и поется: “Любимый город может спать спокойно!” Так что в Москве и без Чайки налажена у Сталина оборона, будьте уверочки. Это уж если мы заговорили, почему да отчего Чайке лично поручена все ж таки не Москва, как ни странно. Потому и не Москва, как видите, что именно как раз Ленинград у нас, наоборот, к сожалению, слабое звено. К тому же — узкое место, как говорится. Во-первых, в блокаде уже второй год: специально, кстати, сам товарищ Сталин придумал для ленинградцев эту стратегически необходимую блокаду, чтобы связать Гитлеру все руки, а заодно и сковать его

главные силы, чтоб на столицу не поперли всем колхозом. Не Москву же под удар подставлять, в самом-то деле, вы что, товарищи, в своем ли уме? А кем-то надо пожертвовать, это закон такой в стратегии, иначе война будет нечестная, не по правилам, и все перепутается и на фронте, и у самого Сталина в голове: правила одни на всех, и надо держаться в рамках, соблюдать. Если хочешь пользоваться авторитетом, хотя бы даже в глазах противника, надо ему обязательно бросить кость, как говорится. И в этой связи хочется подчеркнуть, что ведь и с любой самой злой собакой так же: если не бросить ей косточку, когда в сад к ней за яблоками лезешь, обязательно лай подымет, а может и цапнуть основательно и бесповоротно. А на войне ведь все как в жизни: кто не рискует — тот не пьет шампанское, как у нас в народе говорят. Думал-думал товарищ Сталин, какую кость Гитлеру фашистскому кинуть, — и пал его выбор на Ленинград. Это единственно правильное решение, товарищи! Уж кто-кто, а Питер-то выдержит, факт. В Питере фактически почему-то самый сознательный пролетариат в данный момент собрался, давно замечено. Выдюжит, не подведет страну. Еще в революцию доказал всем, на что способен, — если его, конечно, как следует воодушевить и цель святую политически грамотно указать, как полагается. Хотя это не Москва, верно, ни тебе Кремля непробиваемого на случай вражеского прорыва обороны, ни блиндажей да дзотов рубиновых в небе, откуда можно гансов, на худой конец, хотя бы смолой кипящей поливать, как в старину принято было при подобной нахальной осаде. В Питере-то фактически опорных пунктов обороны — один-разъединственный ленинский броневик у Финляндского вокзала. Тяжелое, в общем, сложилось положение, давайте уж правде в глаза смотреть, здесь ведь стукачей нет, кажется. Очень тяжелое, исключительно. Вплоть до того, что если бы еще и в газетах вражеские диверсанты — для полной уже паники — тоже, как и в снах Мухины иногда, распространяли беспрепятственно клевету и пораженческую дезинформацию, Чайка



давно бы уже крылья опустила. Да и любой бы на ее месте после подобных снов решил бы втихомолку, что защитники города Ленина совсем уже дошли до ручки в разрезе комплекции организма и едва на ногах держатся, да и то только те, которые в живых остались, о других вообще говорить даже не хочется. Ведь когда идешь над ленинградскими улицами на бредущем полете, когда заглядываешь, невидимая, в окна, к собственному родному дому подлетая, — а то и сквозь стены взглянешь ненароком, как само собой частенько случается во сне, — такое иной раз заметишь положение дел, что засомневаешься волей-неволей, в каком же ты, чудачка, сне все-таки находишься в данном случае: в стратегическом, боевом, или же, наоборот, в самом обыкновенном, человеческом, и даже хуже того, в пораженческом и паникерском. Вальтер Иванович предостерегал в свое время: “Летишь, Мухина, сама не знаешь, куда!” — не слушала, мимо ушей пропускала, а теперь и посоветоваться на этот предмет не с кем, любой ведь сразу доложит кому положено, какие у тебя в голове мысли враждебно-пораженческие, с явной предательской подоплекой и волчьим единоличным нутром. Хорошо еще, что хоть газеты ленинградские иногда в руки попадают, только оттуда правду о жизни в городе и узнаешь.

Ведь газеты нам данный вопрос освещают как? Просто, ясно, доходчиво. Город, мол, героически трудится, несмотря на снижение норм продовольствия и питания, а также еды. План оборонной продукции любой завод и даже самая последняя, самая занюханная фабричка выполняют чуть не на триста процентов, а то и выше. Причем в авангарде, как всегда, комсомольцы. А не трупы там какие-нибудь дистрофические, о них-то и разговору никакого нет, о трупах, да и быть не может в сознательной советской газете, потому что паники никакой в Ленинграде нет и в помине, ни даже отдельных случаев несознательного саботажа, — все как один сплотились вокруг партийного ядра активистов

и подходят сознательно, как полагается, то есть как Павка Кор-  
гачин на их бы месте или другие нормальные скромные советские  
герои. На фотоснимки в газете посмотришь — лица как  
лица. Не сказать, что слишком уж разжиревши, но и не доходят  
уж какие-нибудь саботажные, не скелеты, ни на что не способ-  
ные и не годные уже, как говорится, ни в шахну, ни в Красную  
Армию, — пардон-мадам, конечно, я извиняюсь, это, между про-  
чим, по-французски. Как же тут, если ты не шпион-подкулачник,  
поверишь своим глазам, когда в полете над городом наблюдаешь  
трупы отощавших дистрофиков прямо на улицах да в квартирах  
обыкновенных неразбомбленных домов? Почти сразу же дога-  
далась, забеспокоилась: тут какая-то ошибка, явно. То ли что-то  
со зрением, а может, сон получился в данном случае какой-то  
неправильный, не того калибра. Смешанный, может? Наполови-  
ну, например, наш, советский, а на другую половину — из фашист-  
ской пропаганды, от Геббельса непосредственно напущен, нароч-  
но для дезинформации мозгов, чтоб набекрень встали, бляха-муха!  
Но, если по правде, то ведь иной раз не сразу и спохватишься,  
сначала примешь все за чистую монету — фальшь-то ихнюю  
гнилую. Особенно часто спервоначалу так вляпывалась, в сорок  
первом: верила собственным глазам, как дурочка, ну и, конечно,  
расстраивалась почти до слез, то детишек убитых в разбомблен-  
ном детсаду жалея, то слона в зоопарке, бомбой тоже убитого. А  
потом как-то спохватилась, наконец: это что ж получается — в  
жизни одно, а в газетах совсем другое? Да ты до чего ж это,  
получается, додумалась, росомаха? Сумели, значит, тебя, дуру, вра-  
ги обвести вокруг пальца, если мысли такие допустила, достука-  
лась, получается, до ручки. Хоть пускай и ненадолго, и в соб-  
ственной только душе, — а ведь настоящим предателем стала,  
если виденье черных трупов и зеленых дистрофиков в голову  
пустила, не сумела отбить. За это, по-настоящему если, тебя бы  
следовало просто-напросто расстрелять на месте без суда и след-  
ствия, как полагается.

Нет, кроме шуток, ведь ребенку же всякому понятно, как должен выглядеть внешне настоящий коренной ленинградец, который понимает и осознает, какая честь ему выпала — жить в городе великого Ленина, тем более в период блокады его врагом. Это, кстати, очень хорошее и своевременное испытание нашей сознательной стойкости. Такое может не повториться больше никогда за всю остальную историю человечества, и настоящие ленинградцы понимают и ценят, используют удачную ситуацию на всю катушку, чтобы всему миру показать свою преданность делу Ленина и Сталина. Ведь это вдуматься только — весь мир сейчас, в эти минуты на Ленинград смотрит! Особенно смотрят активно буржуи. Так ведь и разбирает их любопытство, до костей мозгов включительно: выдержат ленинградцы — или все же спасуют, как малодушные дезертиры? Ну и Сталин, конечно, само собой, переживает там, у себя в звезде, все курит и курит свою трубку, форточку откроет, проветрит немножко и снова ее табачком набивает — до того испереживался весь, ведь сам же эту проверку и устроил для своих любимых детей-ленинградцев, чтобы еще крепче их закалить для дальнейших подвигов. Переживать-то он переживает, но терпит, сдерживается изо всех сил, не поворачивает войска других фронтов на помощь Ленинграду. Ведь ему-то, как будучи вождем народов, особенно хочется убедиться, что не зря блокаду такую страшную сделал, все правильно рассчитал. Англичане-то с французами, небось, на американку спорят: отстоят ли советские люди любимый свой город — или все же сдадут? Обоим бы, конечно, хотелось, чтобы мы сдались. Вот тут-то мы им всем нос и утрем — всему миру разом! Ведь что нам стоит Ленинград выручить, всей-то страной если на помощь прийти? Плевое дело! Но тут уже, как говорится, нашла коса на камень. Тут мы нарочно, назло не будем этого делать — чтоб знали! Специально одну только узенькую дорогу смерти оставили для снабжения города продовольствием: блокада — так уж блокада, бляха-муха, у нас все по-честному, без дураков,

чтобы не шушукались потом за спиной, не тыкали в нас пальцем: обманули, мол, весь мир. Нет уж, потом никто не придерется, все продумано у Сталина, будьте уверочки: и бомбежки каждый день, массированные налеты на Ленинград со всех сторон, и обстрелы, — все как полагается в настоящей блокаде, как согласно всех уставов и наставлений нам и гласит. Зато есть чем гордиться перед всем миром. Доказали! На все пошли, ни с какими затратами моральными не посчитались, а доказали: хоть сто блокад выдержат наши люди, хоть тысячу! Потому что новая нация на земле родилась фактически: не русские мы уже давно, а вовсе советские люди, в том все и дело. Это если про нацию говорить, если уж разговор такой пошел. За настоящего-то советского человека трех или даже пятерых русских старорежимных отдать можно — да и не жалко. Те-то, небось, Петербург на болотах строя, на краюхе хлеба в день долго не продержались, много не наработали б, быстренько подняли бунт, да скинули бы царя Петра — вот и не было бы на свете никакого Ленинграда. А нам ведь, советским-то, ничего не надо — была бы душа на месте, что уважает тебя коллективно и по отдельности любой член, что ты тоже не хуже всех, что даже отдать жизнь за Родину, как самый лучший, самый сознательный герой, ты можешь в любой день и час — хотя бы даже и с голоду. А кроме этого — что человеку надо? Это ведь самое святое — коллектив. Отсюда у нас и гордость особая: каждый всеми гордится, будь он хоть самый тощий дистрофик, это святое право. Поэтому всем любой советский человек скажет: “Блокада? — Всегда готов!” Пускай, мол, хоть каждый день индивидуально бомбят каждую квартиру, каждый дом, — все равно будем жить и работать всем назло! Потому что каждый помнит даже во сне: есть слово такое — надо! И ни одному дезертиру даже в голову не придет спросить: почему надо? кому именно надо? зачем, бляха-муха? Все уверены: надо — значит, надо, раз надо! Как верил Павка Корчагин. И потому Сталин может быть совершенно спокоен. Пусть только

отдаст приказ — мы и в Москве такую же мировую блокадку устроим, если ему так уж нужно эскренно, и в Рязани, и в каждой маленькой деревеньке. Везде ведь люди живут сознательные, никто ни о чем не спросит, только посуровеют строгие лица, только еще теснее сплотится каждый вокруг надежного партийного ядра активистов и юных горячих активисток, которые всегда готовы, как положено. Потому что любой знает, товарищ Сталин надеется на нас, на каждого, поголовно, и сам ежечасно в лепешку готов разбиться, но доказать всему миру, что только в нашей стране каждый может себя чувствовать героем, богатырем, крепкой опорой родного вождя. Ведь до сих пор что-то не слышно было, чтобы где-нибудь в Германии, или во Франции, Америке, на худой конец, хотя бы в Якутии нашей дорогой была бы устроена в какую-нибудь войну такая же блокада, типа ленинградской. Пускай бы самая миниатюрная для начала. Нет, кишка у вас тонка, товарищи дорогие, в грош вы не ставите своих самозванных вождей, не хотите за честь родины поголодать разок, похудеть малость, — только на пользу пошло бы! Но в вашем мире человек человеку волк, Сталин нам давно объяснил. А у нас, тем не менее, и в блокаде на каждом шагу взаимопомощь, в любой газете только об этом и пишут, а также у нас товарищеская выручка имеет место, кругом локоть друга, буквально за каждым углом. И если случится такое, что один кто-нибудь не до конца еще сознательный упадет вдруг ни с того ни с сего духом, запаникует, падла худая, распушит нервы свои мещанские, — ведь есть еще у нас и недорезанные разные из бывших, чего греха таить, и подкулачники, и гнилая, как говорится, интеллигенция, достаточно еще всякой мрази и человеческого отребья плетется у нас в хвосте, тянет назад весь сплоченный коллектив, — и вот если такая гниль надумает охать, да причитать, да в обмороки разные там падать, якобы с голодухи, — то сразу же остальные помощь ей, гадине, окажут, которое здоровое пока что ядро, они уж не растеряются, будьте уверочки! В ту же

минуту поставят его, суку, по стойке смирно, прямо перед портретом Сталина непосредственно, на ковре красном, как кровь павших за революцию героев, да так его, редиску, отчитают, так чудачка проработают — от стервеца только пыль столбом! Да ну и что ж, что блокада, товарищ ты наш дорогой, бляха-муха! Из-за какой-то там блокады распустехой ходить будем? А ну подтяни ремень, салажня пузатая! До дистрофии предательской довел себя курам на смех? Два наряда вне очереди! Крррру-гом! На кухню, картошку на весь батальон чистить, шагоооооом маррррш! Бегом! По-пластунски! Сразу всю дурь из тебя, говнюка, выбьют. Сталин наш дорогой — как писал? Не можешь — научим, не хочешь — заставим! За чужими спинами укрыться хотел? Нет уж, друг ситный, если уж ты носишь гордое имя ленинградца, веди себя, будь добр, в рамочках, как полагается. Чтобы для всей страны быть негасимым образцом, — в труде ли или во внешнем виде, разницы не играет в данном случае. Образцом, эталоном — понял? А не дистрофиком, не трупом. Зачем же терять свое общественное лицо, товарищи? Как в песне-то нашей любимой поется — вспомнил? “Капитан, капитан, улыбнитесь!.. Капитан, капитан, подтянитесь!” Вот и пой себе для хорошего самочувствия и веселого, политически грамотного настроения. Не могу? А ты — через не могу. Как все. Вот так! Чтобы не морочить своим видом трупским головы нормальным людям, особенно бойцам, которые на невидимом задании мимо вас пролетают и видят вас, в платки замотанных по глаза, — не поймешь даже, бабуля перед тобой замерзшая или обыкновенный вражеский диверсант обмотался для маскировки.

Уж один-то раз, в декабре сорок первого, точно не свой сон увидела, сразу почти догадалась. Только самому прожженному кадровому шпиону или, в крайнем случае, предателю-генералу из недорезанных, как минимум, может такой кошмарный ужас привидеться. Но об этом ошибочном обмане Чайка, по правде говоря, догадалась уже потом, когда от ужаса проснулась у себя, на

топчане в землянке, Муха-Мухой. Причем никакой ночной гость на этот раз никуда ей пальцами своими офицерскими не залезал, сама очнулась от этого сна кошмарного, чуждого советской девушке совершенно по своему злостному духу, вдобавок в слезах вся, — во залетела, а? Треплемся, конечно, с кем попадая, разбалтываем военную тайну налево-направо, начальство кроем на все корки, а бдительности при этом ни на грош, — вот уже и достукались, чего ж удивляться, дошли до ручки, на себя пенять надо, что уже любой диверсант может даже самому сознательному, политически безукоризненно подкованному бойцу, хоть самый живой и очернительский сон втюхать в башку, как опилки вместо махры, даже самый паникерский и пораженческий кошмар в том числе.

В самом-то деле, товарищи дорогие, ну где вы такое могли видеть, головой-то подумайте! Представьте только: у вас на глазах — во сне или наяву в данном случае роли не имеет, — пусть вы даже и невидимы в данный момент, но сами-то не без глаз, правда же? — и вот у вас на глазах, причем совершенно безо всякого зазрения, это хочется почему-то подчеркнуть, — простая советская старушка, в платок по глаза замотанная, да вдобавок еще горбатая от старости, ни с того ни с его хватает с кухонного стола длинный нож и спокойненько себе, как в мясном магазине, отрезает огузок у хорошенькой девочки, причем у девочки послушной, явно ни в чем не виноватой, чтобы так ее чересчур строго наказывать, в условиях, тем более, блокады города Ленина полчищами озверелых оккупантов. Девочка, кстати, тут же лежит, на кухонном столе, на боку, голенькая, только ножки босые свешиваются немного, причем и глазки открыты, и ротик — не спит. Светлые такие глазки. И зубки во рту молочные — как сахарные блестят, — слюна, значит, не пересохла, как у трупов положено, живая. А когда старушка-бабушка, вертит ее, внучку, кряхтя, с боку на бок, поудобнее, половчней перекладывает, то и ручки шевелятся, не задеревенели, и откидывается головка — с

косичкой жиденькой, русой и голубым, в белый горошек, бантом, на котором наглые “семашки”, вши то есть, сами вы уже поняли, вши с ее круглой головки, видны так отчетливо — сразу хочется их собрать — и в печку, несмотря что девочка, безусловно, не смогла бы все же терпеть подобную тяжелую операцию без наркоза, а значит уже все-таки, конечно, умерла, хотя и совсем недавно. Вон, кстати, на левом виске у нее пятно синее и ссадина: баловалась, видно, шалунья, упала, ударилась об угол печки, может, или там об утюг, — ну и отдала богу душу, как говорится, — не бабуля же собственную внучку порешила этим утюгом, что на столе валяется, — смех подумать! Вот и хочется Чайке собрать, значит, наглых “семашек”, чтоб не ели девочку умершую, во-первых, да и по квартире не расползлись, ведь старушка-то живая, очень даже сравнительно шустрая в этом своем домашнем морге, следовательно, требуется ей, старенькой, по возможности, гигиена.

К тому же, и не сразу ведь поняла Чайка, что девочка с бантиком в такой жизнерадостный горошек все-таки не живая, не сразу взяла бабушка нож. В Ленинграде, надо сказать, подавляющий процент населения на тот момент времени уже не светились совершенно почти что. Ленинградцы блокадные — это вам не бойцы-пулеметчики, не Колыванов Васька, от него-то и наяву за три метра чуешь телесный здоровый жар, который во сне видишь как розовый или зеленый свет над его головой и плечами. На фронте-то все же с питанием пока лучше, будем уж правде в глаза смотреть, пока никто не слышит. Потому и гражданочка та, пожилая старушка, в пустой кухне на восемь примусов, куда Чайка заскочила бездумно на огонек коптилки, пролетая вдоль пятого или четвертого, что ли, этажа длинного старорезимного дома на родном Суворовском проспекте, — нет, не светилась старуха нисколючко, только серый дымок над макушкой ее замотанной длился, да тлели вокруг лица, вспыхивали слабые багровые искорки — и тут же гасли. Совсем слабенькая бабка, вся в платок упакована, еле шевелится, — и шубка на ней



плюшевая, и валенки с галошами, а все равно уже не согреться бедной, несмотря что печка топится посередине кухни, на всю катушку шурует, со стены за печкой так и течет, почти весь лед уже стаял. Нет, не светится старушка, видно, близок ее конец. Вот и не обратила Чайка внимания, что и девочка света не дает ни капли, — вроде так и положено. А ведь всегда обращала внимание и радовалась на детишек, какие они разноцветные, несмотря на войну, — как цветы, — даже и в Ленинграде, в блокаде. Поначалу-то, осенью, часто ведь залетала в щели да форточки, любопытства ради, и всегда любовалась на спящих малышек: ведь от горшка два вершка, короед этакий, и тощий уже, прозрачный почти, — ленится в детском садике лишнюю порцию каши съесть, — а свет от него, спящего, как от хорошей лампочки — так и льется, так и бурлит волнами золотыми, так и вспыхивает радугой — видали артиста? Удивлялась еще: ведь и сама, значит, в детстве так же вот полыхала на всю катушку, — куда же, спрашивается, девалось-то оно все, кто забирал?.. А у старухи девочка была тусклая, как кукла. Тут бы все и понять, как оно есть, да, как назло, отвлеклась Чайка. Сколько раз Вальтер Иванович замечание делал на уроках: “Опять ворон ловишь, Мухина?” Да, отвлеклась. Вшей у нее на бантике заметила. Но потом Муха как очнулась, прозрела: глаза-то у ребенка совсем какие-то охолодые — студень, буквально. Но и тогда не уверена еще была. Думала, что старуха для того и взгромоздила девчоночку на стол голую — мыть собралась — вон на печурке и вода в кастрюльке, пар идет, а вторая кастрюлька на столе. Помоешь, мол, внучку бабушка, и хорошо, а сначала вшей оберет у нее с головки как полагается. И тут старуха взяла нож. А девочка лежит на боку, к старухе лицом, и не пикнет у себя на столе. Причем одна ручка ее протянута со стола — как бы она бабулю обнять хочет между делом, приласкаться. Старуха кряхтя, очень медленно, с трудом, дрожащей рукой придерживая и оттягивая одновременно, срезала пласт мяса с круглой, еще не посиневшей детской

попки — девочка не шевелилась. Бабушка подержала срезанный краешек ягодицы на своей черной окровавленной ладони с костистыми пальцами — взвесила как будто. И уложила его на разделочную доску, кожей вверх, а мясом вниз, — холмик беленький, как не выпеченный еще пирожок, тугой от щедрой начинки. Вдохнула всем телом и стала снова отрезать, оттягивая за край, широкий овальный розовый пласт с каемкой кожи. Кровь не текла, девочка лежала, как кукла.

Нож скребнул по обнажившейся золотой кости.

Маша закричала. Чайку обдало морозным ветром — он пронзил ее, как тысяча ножей.

Мигнул на столе огонек коптилки. Старушка подняла голову.

Холодная боль во всем ее трепещущем незримом теле пережегалась охватывающим жаром стыда. Она поняла, что ее разыграли. Но вот кто? Кто, бляха-муха?!

У замотанной в платок горбатой бабули были густые рыжие молодые усы и оранжевая щетина на небритых щеках. Пока лицо ее было в тени, усов Чайка не видела. Бабушка воззрилась на невидимую Чайку или сквозь нее — затянутыми мутной зеленью впадинами голодных и тусклых глаз, с дрожащим лезвием в руке, и красными пальцами гладила свои усы, поводя с трудом обмотанной головой и прислушиваясь. Понюхала свои пальцы, облизала их и причмокнула. Потом сказала тонким и хриплым голосом, на самом деле старушечьим: “Крысы...”

Чайка метнулась к окну, в щель между подушкой и рамой форточки, уже поняв, что ее провели жестоко и насмешливо, и хохоча во все горло, которого у нее, впрочем, не было, ввиду абсолютной невидимости всего стратегического организма. Обдурили идиотку доверчивую — как в ленинградском ТЮЗе, на Моховой улице: и тут тоже дядьку переодетого за старуху приняла, за настоящую Бабу-Ягу. Пока она, костяная нога, чуть не два часа по сцене за пацанятами гонялась, как враг народа, сожрать их грозились, Муха вместе со всеми ребятишками-зрителями

извелась, буквально. Молодая была, зеленая: в третьем классе всего. Ну и, конечно, от возмущения заревела, на сцену бросилась, еле-еле папочка удержал: не бойся, мол, все хорошо. будет, милиция в курсе дела. До конца последнего действия так и продрожала: а вдруг милиционеры не подспеют? Ведь вон какой нож у Яги! И сабля! И пистолет!.. А когда ее, бандитку деклассированную, схватили, когда опустился занавес и артисты кланяться вышли, Баба-Яга вдруг свой косматый парик как сдернет — а там лысина! Муха чуть в обморок не упала. Это до какой же степени кровожадным надо быть на самом деле артисту, да при том и бесстыжим — в людоедку старую играть у всех на виду! Лысый, солидный мужчина на первый взгляд. А на поверку выходит — что? Замаскируй его париком, дай в руки нож — и готов диверсант отпетый!.. Вот и тут, на кухне ледяной, тоже сцену диверсанты устроили. Нарочно — доверчивых дурить, если кто из соседей поинтересоваться зайдет, почему все-таки котлетами жареными в блокаде запахло. Просто дал ихний художественный руководитель нож в руки первому же попавшемуся гансу, а под нож в аккурат подложили ему девочку гуттаперчевую, вроде манекена, красной краской измазанную, — и давай себе комедию ломать. Специально для слабонервных: вот, мол, до чего озверели в блокаде сыны и дочери города Ленина, полюбуйте, товарищи зрители, распространяйте теперь во все стороны вражескую нашу клевету и дезинформацию, если вы такие неустойчивые морально, что в двух шагах даже не разглядеть вам усы у Бабы-Яги под носом. И ведь поверила же, а? Поверила! Одно и спасло: забыл все-таки гитлеровский худрук своему главному артисту усы сбрызнуть, чем и обнаружил коварный свой замысел курам на смех. Тут уж и не захочешь, а засмеешься так, что голова кругом пойдет, а с ней вместе и вся их лживая пропаганда с ледяными стенами и тощими трупами в бантиках голубых, вшами обсиженных. Вот и захохотала-закатилась Чайка, глаза свои вытаращенные руками прозрачными прикрывая от ужаса

все-таки непонятного, юлой вертясь вокруг себя самой и проваливаясь все глубже, пробивая вязкое дно фашистского сна и возвращаясь в родное свое бытие. А когда пришла в себя на топчане, дрожащая возвращенным телом, как будто пронзавший ее во сне мороз застрял в костях, долго не могла унять колотивший ее смех, и утирала дурацкие детские слезы.

Надо же так опозориться, а! В чужой сон залетела! Все правильно, идешь на задание — нечего отвлекаться. Не заглядывала бы в чужие окна, как невоспитанная какая чудачка, не влезала бы в кухни по ночам, — так и не сбилась бы с маршрута. Сны-то ведь у людей не нумерованные, не вытравлена на них фамилия твоя хлоркой, как на брюках либо гимнастерке, — на каждом-то сне, положенном тебе для просмотра согласно штатного расписания, — самой надо ухо держать остро, не зевать, прицеливаться не в молоко, а в десятку. А загуляла, сунулась вместо своей родной форточки в чужую, — свет, видишь ли, домашний потянул ее, бабочку безмозглую, — ну и не хнычь теперь, если решила тебя использовать в своих подрывных целях вражеская пропаганда, поймала птичку в мышеловку. Не бывает, товарищ? Еще как бывает, бляха-муха! Это у старух ленинградских усы под носами не растут рыжие, действительно не бывает, а с тобой во сне все что угодно может случиться, не забывай, имей в виду. Учат, учат вас, трепачей, — бдительность и еще раз бдительность днем и ночью! Ведь оглянуться не успеешь, росомаха, как завербуют и станешь предателем. И не захочешь а все-таки будешь тогда слухи распространять для паники, подрывать боеспособность изнутри. А все начинается с обыкновенного, на первый взгляд, сна: подумаешь, бабушка внучку режет, да когда заболеешь, то в бреду и не такое привидеться может, сон есть сон, бляха-муха! И с каждым может подобное дерьмо иметь место, со всеми поголовно. А почему? А потому что не только друзьям-товарищам — в первую очередь и себе самой доверять не имеешь права — ни на грош! Даже собственным глазам и ушам.

Убедилась теперь. Еще бы минута — и поверила бы в самом деле, что в Ленинграде уже чуть ли не внучек собственных бабушки усатые жрут. Вовремя приоткрыла “бабуся” волчье свое лицо диверсанта усатого, на всю жизнь урок дала дуре. И что характерно, при подобной расхлябанности, что-то в этом предательском духе и должно было с Чайкой случиться рано или поздно. Все теперь — амба! К окнам чужим, к дверям, к щелям, к форточкам, к трубам, к огонькам свечек за шторами — ни-ни, ни под каким видом, пусть хоть гори они синим огнем, вплоть до того. Мировой получила урок. И хотя сразу же сделала для себя оргвыводы, учла, как положено, и осознала, два часа еще, минимум, вертелась на топчане, переворачивалась с боку на бок: стыдно же!

Главное, то стыдно, тот самый факт, что все же поверила на минуту, приняла эту пропагандистскую фальшивку, шитую белыми нитками, за настоящий правдивый советский сон. Нет бы мозгами туда-сюда раскинуть, сопоставить кое-какие факты, — ведь сразу же раскусила бы всю ихнюю подставную комедию на месте. Во-первых, уж если начистоту, могли бы и поправдивей они подмастерить это свое кино про резаную девочку, тогда бы уж точно попухла Чайка окончательно, клюнула бы на удочку и приманку проглотила, — а то ведь и девочка у них какая-то была подложена безжизненная, и главному герою даже усы сбрить не догадались для конспирации. А во-вторых, стоило только вспомнить Чайке не теперь, уже Мухой обратно будучи, а там, на замороженной несветской кухне с обледенелыми, как у Северного полюса, стенами, — всего-то и припомнить, что и у тебя, идиотка дурацкая, точно такой же был бантик в косичке, еще в сороковом году, когда к бабушке Александре в деревню отправляли. Запасную ленту еще мама в чемодан сунула тебе — точно такую же, голубенькую, в белый горошек. Вот и выходит, что если бы не ты заболела в сороковом году туберкулезом, вошь тифозная, а, к примеру, Верка Митляева или ее пухленькая, с

вечным своим бутербродом, сестра Любка, — вполне могла заразиться от тебя в первую очередь, тьфу-тьфу, конечно, не сглазить, в одной ведь квартире жили, общей почти что семьей, за исключением, конечно, сервелата, — то и в деревню бы вместо тебя Верка с Любкой уехали, а ты бы осталась, как дурочка, в блокаде с бантом своим дурацким. Так? Так. То есть на место той бабушкиной внучки очень запросто и попала бы зимой сорок первого, теперь, — в аккурат на кухонный стол. Уже плоховато что-то верится, верно? Погоди, это еще только цветочки. А теперь давай попробуем представить, что ты лежишь на столе, хотя бы даже и мертвая, пускай, а какая-нибудь замотанная в платок Веркина с Любкой бабушка Лизавета Родионовна хватает вдруг ни с того ни с сего первый попавшийся колун и начинает тебе задницу разрубать на огузки — за неимением под рукой у тебя собственной бабушки Александры (она в деревне по-прежнему, ты не теряй нить, росомаха, она Верку с Любкой молоком отпаивает от туберкулеза, ведь ты-то здоровая, они вместо тебя как бы заболели, а ты здоровая, просто в данный момент умерла с голоду и лежишь перед Лизаветой Родионовной на кухонном столе — вместо Верки с Любкой и той незнакомой девочки с твоим собственным бантиком в горошек). Чушь получается, верно? Но и это тоже пока еще цветочки, мы сейчас глубже копнем, где самая собака-то и зарыта. Хотя уже и так ясно, что концы с концами не сходятся, не может тебя простая советская старушка сознательная рубить и резать в качестве говядины, — что она, психическая, что ли? Ведь в школе училась, объясняли ей, что положено делать, а что не положено. К тому же, сколько раз ты для нее в булочную за халвой бегала! А если и съела на обратном пути кусочек, пока на пятый этаж поднималась, — так она бы и сама всегда рада была угостить ребенка, если бы не забывала регулярно по причине сильной слабости мозговой памяти в голове. И в библиотеку ты для нее бегала за романами Дюма, — любительница ведь она, книжечка завзятая,

прямо зачитывалась запоем... А может все-таки замечала она, что воруешь ты потихоньку халву из кулька, обедаешь ее старость заслуженную? Для нее же халва — это святое, буквально, а ты ее — зубами... Но неужели же безотказность твоя дисциплинированная не важнее кусочка халвы? Ведь редкий же день не бегала для Лизаветы Родионовны в библиотеку, редкий день, буквально! Ей книжку прочесть — пять минут, даже без очков шпарит... А там, кстати, на кухне у старушки, что характерно, потому печка и шуровала на всю катушку: книгами она ее топила, как раз “Три мушкетера” валялись, уже разорванные пополам, чтоб лучше горели и дыму поменьше... Снова концы с концами не сходятся, чувствуешь? Это чтоб Лизавета Родионовна книги жгла? Да вы в своем ли уме, товарищи дорогие? Врите, да знайте меру, бляха-муха!

Нет, мы с вами сейчас еще дальше пойдём. Мы вот сейчас представим, что это и не соседка была, с ножом-то, не Лизавета Родионовна с вечной своей халвой над романом, а собственная твоя мама. А? Почему бы тогда и нет, раз уж так у нас все смешалось в кучу? И пускай все знают, что мамочка — самая добрая, самая лучшая. Вообще мать — святое самое, сразу же после Родины для каждого следует, то есть, конечно, после Родины и коллектива, это понятно, — на третьем месте аккурат, как согласно всех штатских правил и даже на фронтовые условия распространяется, несмотря на единоличные чувства. Святое-то оно святое, — а как ему быть, если с голоду вот-вот помрет, даже по усы по самые завязалась в платок — и не согреться на пустой желудок? А ты сама при этом уже фактически умерла, ты не теряй нить, причем мама в этом твоём неживом положении убедилась не только когда резать тебя стала, а ты молчишь, но раньше, конечно, заблаговременно. Так можно тогда ей от тебя чуть-чуть мяска отрезать все-таки? Или нет? Но почему же нет, если всем вокруг уже все можно — и немцам позволено бомбить город Ленина, и ленинградцам никто не препятствует книги самые лучшие жечь — даже “Трёх мушкетеров”, которые,

между прочим, всегда были “один за всех, а все за одного”, как положено? И причем не только книги любимые жечь можно, но и соседских девочек на мясо пускать, пока они еще не заолодели от смерти, не задубели, тепленькие еще, как мы только что на примере чужой старушки Лизаветы Родионовны и получили подтверждение по всем пунктам. Как девочка бабулю-то обнимала ручкой, когда та ее — ножом, помнишь? Ведь век не забудешь, верно? А бантик-то, между прочим, — твой личный, голубенький, — значит, и мамочка твоя могла бы в ту минуту быть замотана, как старушка, в точно такой же платок по самые усы. Логично? Абсолютно железно. Так, бывало, Вальтер Иванович скажет, в хорошем настроении улыбаясь всему классу: “Если на клетке с тигром написано: “лев”, — не верь глазам своим. Логично, товарищи красные гимназисты? Железно! Так и запишем!” И все мальчишки вечно присловье его повторяли: “За контрольную завтра ты, Муха, опять неуд получишь. Логично? Железно!” — или еще там что-нибудь в подобном же роде — жеребцы. Так что не верь глазам своим — это главное. Иначе запутаешься, заплутаешь в трех соснах и не поймешь никогда, что у тебя под самым носом творится на самом деле. А там уже и усы выросли, как у заправского шпиона, — вот что на свете-то делается, бляха-муха! Но если, кстати, у мамочки никогда усов не было, то это еще не значит, что и нож в руки она никогда бы не взяла; усы одно, а нож — совершенно, извините, другое; “где имяние — а где вода!” — сама же мамочка и любила повторять, если Муха чего-то не понимала и путала между собой две какие-нибудь большие разницы. А значит, все же могла, вполне она могла быть на кухне вместо той старушки — в точно таком же платке даже; у нее как раз и был один старенький, серо-коричневый, почти точь-в-точь такой же. Почему нет — если уж мы решили правде в глаза смотреть?..

Что — не нравится, бляха-муха?! Задрожала опять? А ты сопоставляй, сопоставляй, прикидывай. Если такая дура. Если во



сне поверила в дурь такую — то и теперь верь в эти свои жуткие выдумки. Что же ты дрожишь-то, что ты трясешься-то вся, задница твоя недорезанная? Завсхлипывала опять? Страшно? Не может быть, говоришь? Правильно, не может. Тем более, мамочка с папой погибли под бомбежкой. И вообще — просто невозможно — и точка! Не может сознательный советский человек соседа своего по коммунальной дружной квартире сожрать — и не поперхнуться, а тем более — ребенка родного, — бред!

Так как же ты посмела в подобный кошмар-то поверить? Как у тебя хватило совести в жуть-то такую поверить — с бантиком голубеньким, не виноватым ни в чем, кроме кусочка халвы арахисовой? Почему сразу же не поняла все как есть, бантик-то свой милый увидев, горошинки белые, вшами нагло обсиженные? Где при этом была твоя голова садовая? Плачь вот теперь, кусай себе руку. В другой раз умнее будешь. Давно бы уж, между прочим, в твоём возрасте разобраться пора, во что следует верить безоговорочно, если и в газетах написано, и любой командир подтвердит, а в каких случаях ты просто обязана закрыть глаза, плюнуть во всю эту вражескую ложь и перелететь спокойненько в два счета из чужого шпионского сна — в свой, сознательный и политически грамотный на все сто процентов, даже больше. Вот и перед мамой теперь вдобавок стыдно, что думала про нее так, представляла ее на старухи усатой месте. Уж только бы не услышала она, мертвая, ненароком таких о себе нечеловеческих мыслей архиглупых, не заглянула бы в эту минуту в Мухину голову, в дурную башку, — обидится ведь на всю жизнь, а что может человек с того света оставшимся здесь сделать в наказание, — это ведь еще наука точно не установила, как раз бьются ученые, один капитан говорил одноглазый, его из-за зрения только, между прочим, и не демобилизовали с фронта: за версту комара видит и очень способствует проверке данных, разведанных путем визуального наблюдения за передовыми тран-

шеями гансов почти круглосуточно, потому его и ценят, ничего даже не сделали, когда он у Мухи на топчане неделю прожил, от начальства схоронившись, — пришлось, правда, ему после соврать, что он всю неделю второй свой глаз стеклянный искал на нейтральной полосе, поскольку без него вести наблюдение не может: он у него как бы вроде противовеса для максимальной остроты взгляда...

Уснула Муха в слезах, но отчасти уже успокоенная. И приснилась ей мама — Зинаида Владимировна. Впервые приснилась после того дня, когда бабушка Александра молча дала ей теткинo письмо и Муха узнала, что ни мамы, ни папы больше на свете нет и не будет.

...Прямо к ней на топчан опустилось густое, искрящееся молочное облако нежной радости, — разом утешая Муху во всех ее терзаниях болящего тела и души ее, в миг успокоенной и прежде тела прильнувшей к облаку счастья. Муха, сладко вздохнув, прижалась к маминой груди, обняла ее, плача и вытирая щеки о теплое облако. Она отлично понимала, что находится сейчас во сне, но сон вокруг какой-то особый, не простой и не стратегический, а как бы иная некая жизнь, — меж сном и явью мреет она, как летнее полдненное марево, что размывает плоть видимой жизни, не обращая бодрствующее вещество в пронцаемый невесомый ступок смешанного с тенями света.

Мама смотрела в потолок землянки, лицо у нее было темное, и взгляд неподвижен, как у мертвой. И Муха почувствовала вдруг, что никакая она не Чайка и никогда не была ею, что только лишь этого родного тепла она и искала в своих полетах, к маме рвалась, домой, понежиться так вот, поплакать всласть, уже спокойно, уже зная наверняка заново: это тепло, и нежность к тебе, и обнимающий, лелеющий покой — это все твое, твое собственное, и никуда не уйдет, не исчезнет никогда, навсегда тебе принадлежит по самому прямому праву и будет вечно тебя утешать, согревать и любить, а разлука коротка, скоро снова мамочка будет

рядом каждый день, каждое воскресенье выходное, да и по будням тоже. И только от лица мамы, запрокинутого в глухой тоске, шла тревога, неизвестная Мухе, чуждая ей неким неизведанным, нежитейским смыслом.

— Мамочка! Когда же ты заберешь меня к себе? Мамулечка! Мамуля моя родненькая...

Муха зарывалась в молочное облако, млея в нем, пронизанная разом всею памятью мира семьи, общим с мамой дыханием. Как можно жить без этого? Ведь без этого — не жизнь, а смерть!

— Когда, мам? Я так соскучилась за тобой!..

— Не спрашивай! — не глядя на нее, коротко махнув рукой, сказала мама.

Муха заплакала сильнее, понимая, что никогда не узнает того, о чем должна почему-то молчать мама, знающая, разумеется, все.

— Никого, никого у меня нет! — почти крикнула Муха, рыдая и задыхаясь, приходя в ужас оттого, что кричит на маму и требует недозволенного с укором — словно бы та в чем-то виновата. — Ни одного человека живого не осталось! Зачем ты так, мамочка? Что я сделала?!

Облако колыхнулось, и Муха увидела с ужасом, что и мама плачет, плачет беззвучно и глубоко, как умеют только взрослые, — не нуждаясь в утешении, ведь невозможно маленькой девочке утешить такую непомерную, такую непостижимую пугающую тайну далеких огромных тягостей совершенно иного естества.

— Мама Люся у тебя, — сказала мама, горестно улыбаясь, и не было понятно, в утешение ли, в насмешку ли Мухе говорит она эти странные слова, ободряет ли, предупреждает ли о грозящей опасности — или просто шутит над своей глупенькой Мушкой.

— Солнце еще ребенок, — добавила она со вздохом, вовсе уж непонятно, едва ли не с отчаянием — и вновь колыхнулось и как бы вскипать изнутри стало молочное облако, началось в нем неспешное подспудное брожение — как в закипающей кастрюльке с манной кашей, — и еще, еще теплей, еще слаще с

мамочкой стало Мухе, вновь и еще глубже успокоенной теплыми токами, омывающими ее существо со всех сторон, прогревающими насквозь, оживляющими какие-то забытые, давно, думала, утраченные ею глубины надежды и дочерней нежности к жизни.

Однако облако стало растекаться и таять. Муха почуяла со страхом, как вся ее суть и жизненность, успокоенные только что и слившиеся со светозарным облаком, стали сжиматься, удобно и стыдливо умещаясь друг в друге, и холодеть, вновь погружаясь в ознобные волны одинокого, пространныго и опустелого сна. Рассеялись под потолком землянки серебряные искры, Муха осталась, тяжелая, чужая, на жестком топчане. И почти тотчас же проснулась, захватив все же из сна, как выстиранный чулок из лоханки, мамины странные слова о Люсе и о солнце. С ней еще оставались каким-то чудом принесенные мамой тепло и уверенность, что в конце концов все будет очень хорошо — там, у мамы, вместе с мамой, под ее защитой и по ее воле. Но сейчас главное было — осознать, что означают мамины слова, о чем они в самом деле, а не во сне, и что необходимо теперь делать, чтобы не упустить что-то важное и одновременно не растерять подаренное теплым облаком утешение и прощение. Жаль только, что почему-то про Вальтера Ивановича не сказала ничего мамочка, а ведь, наверное, знает хоть что-то, уж это наверняка...

Одно было ясно уже сразу: Люсе следует, конечно, уделять гораздо больше внимания, а то вот и мама как будто сердится, что редковато Муха заглядывает на Суворовский. Оттого, наверное, и напомнила о Люсе мама, что в последнем рейде Муха так ведь и не попала домой, сразу же и проснулась после позорной истории с усатой старухой. Кто знает? Факт то, что Люся голодает на Суворовском одна-одиношенька, и, значит, следует, как только появится возможность, уделять Люсе, как полагается.

И в этой связи очень, конечно, мирово получилось, что генерал Зуков поручил своей Чайке именно Ленинград, потому что этот

город носит имя великого Ленина, почему фактически и попал в пиковое, как говорится, положение, — из-за ненависти гансов к этому ненавистному имени. По сути дела тут, конечно, радоваться особо нечему, тем более, если ты патриот и переживаешь на этом основании за родину, как и полагается. Но ведь, с другой стороны, если бы не блокада, пусть даже хотя бы и со снами фашистскими на чужих кухнях, где бесноватый фюллер свою оголтелую пропаганду развел, падла, еще и с бантиками голубыми для полной дезориентации мирного населения, да если бы не определил Чайке генерал Зуков именно данный населенный пункт почему-то, Ленинград, — так ведь только в мечтах и слетаешь домой с переднего-то края, а сны уже были бы постоянно московские какие-нибудь, согласно полученного приказа, с какими-нибудь Царь-пушками да Царь-колоколами, расколотыми вместо живой родной Люсеньки, за которую переживаешь весь день и ночь, если не очень занята. Причем, оказывается вот, не ты одна из-за нее боишься, а и мама откуда-то с облаков. А то вообще по-немецки бы спать приказали и обучили в два счета, если бы на Берлин поручили летать, — и шли бы сплошь сны берлинские, с рейхстагами, свастиками, гансовскими харями кругом, как уже однажды имело место, — до сих пор вспоминать противно. А так — хоть изредка все-таки домой заскочишь, — кто еще в подобных льготных условиях воюет?

И вот Муха снова, снова, снова летит над родным Ленинградом!

Отпустят в этот раз — или не отпустят? Вот уже и площадь Восстания пролетела, Старо-Невский внизу, Александро-Невская лава впереди торчит. Неужели без увольнения оставят?

“Одна нога здесь — другая там! — голос у генерала Зукова теперь недовольный, ворчливый, но снова Чайка различает за напускной строгостью добрую его улыбку. — Три минуты на все!.. Чайка, Чайка, я — Первый! Ррразрешаю трехминутную самовольную отлучку! Сборный пункт — Дворцовая площадь.

Повторяю: через тррри минуты прррибыть на Дворцовую! Свободна!”

Свободна!!!

А он-то, лапочка такая, чему радуется, да голосом играет раскатисто этак, да смех сдерживает едва? До чего хороший все-таки человек, до чего родным стал за эти месяцы — жуть!..

Завернув тройное сальто, Чайка бросается вниз, как на лыжах с горы. Темные улицы скользят под ней назад и вверх. Остаются позади клубящиеся пожары, ослепляющие пятна гигантских проекторов, широкие полотнища дыма и облака пепла. Домой!

Окно своей комнаты в пятом этаже старинного дома на углу Суворовского проспекта и Седьмой Советской улицы Чайка нашла бы и с закрытыми глазами. Приникнув на миг к стеклу, заклеенному, чтоб не лопнуло сдуру от близкого взрыва, еще мамой или Лизаветой Родионовной крест-накрест полосками газетной бумаги, она уже чувствует, что в комнате есть живое тепло. Люся жива! И только теперь понимает Чайка, какая тоска мучила ее с позапрошлой ночи, а теперь вот ушла. Прошлую-то ночь ей уснуть не удалось. Накануне как раз в роту влилось пополнение, и уже с полуночи вплоть до самого подъема курносый маленький лейтенант плакал у нее на груди, рассказывал о своей первой любви, прекрасной десятикласснице Клеопатре Тютько, которая оказалась коварной изменщицей и провожать его на фронт не явилась. Лукич дежурил на передовой, и она не препятствовала курносому рыдать в полный голос. Муха уж и гимнастерку стащила с себя, и трусы, чтобы он обратил, наконец, внимание на девушку, отнесся бы скоренько по-человечески и не мешал больше спать. Но лейтенанту срочно надо было пораспускать сопли — прямо эскренно, бляха-муха! Иногда спрашивал: “Жарко тебе, да? Ничего, я сейчас, только доскажу тебе все до конца — и уйду. Потерпишь, а? Ну что тебе стоит!” Всю ночь с ним, трепачом, глаз не сомкнула. Курносый бубнил ей в подмышку промокшую, а она все ломала себе голову, не понимая,

куда могла подеваться бестолковая Люся. Потому что в позапрошлую ночь Чайка чуть не опоздала на Дворцовую площадь, облазала всю квартиру, буквально, в каждую щель просочилась, но так ее и не нашла. Что за притча? Убили, съели? — как ту девочку с голубым бантиком. Так ведь пустая квартира, опечатанная даже, все соседи в эвакуации. Кстати, если печать на двери висит, значит и воры не забрались до сих пор, так? Не могла же Люся улететь через дырочку в углу рамы — она не Чайка пока что. Прямо какой-то дурной сон, честное слово! Вот, кстати, лужица на кухне, под раковиной, — от жажды, значит, не могла она умереть. Неизвестно, конечно, каким чудом еще сочтется вода специально для Люси, когда нигде уже водопровод не работает, но если бы не подтекала ржавая труба, не выжить бы Люсе, факт. Нет, она где-то здесь: какашки ее лежат в углу комнаты, есть и свежие. Хорошенькие такие какашечки, продолговатые, как косточки фиников довоенных. Жива, жива старушка! Да где же она, зараза такая, бляха-муха! Не для того же она, чудачка, в самом-то деле, полтора года голода пережила на страх врагам, чтобы пропасть ни за понюшку табаку, когда уже вот-вот прорвана будет блокада. Ведь глупо же! И сухарей вон в шкафу еще три мешка нетронутых, на десять лет засушить успели родители перед проклятой своей командировкой разбомбленной, царство им небесное, — если, конечно, учесть скромные Люсины аппетиты... Люська, вылезай же! Не в булочную же ты пошла, в самом деле, не на рынок, соображать надо все-таки хоть чуть-чуть, товарищи дорогие!.. Да что толку кричать, если нет у тебя во сне ни гортани, ни голоса, один дух святой, извините за выражение...

И все же целых двое суток после своей Чайкиной ленинградской самоволки Муха кляла себя и грызла поедом, что так и не обнаружила в пустой квартире Люсю — ни живую, ни мертвую. А теперь, у окна родного, ей стало легко, как в осенний вечер сорокового года, когда внесла Люсю в дом, уже заранее зажмуриваясь от предстоящего крика мамы: “Этого нам еще не хватало!!!”

Чайка всматривалась сквозь стекла, но в комнате было темно. Она скользнула вдоль рамы окна и плавно перетекла в комнату сквозь треугольную дырочку, где уголок стекла был отколот еще до ее рождения. Всю жизнь собирался папочка заменить стекло, даже алмаз купил стеклорезный на барахоловке, да так руки и не дошли: секретный работник, понятно, то ночью ни с того ни с сего по тревоге поднимут, пришлют нарочного, то в выходной телефон зазвонит с утра, он в трубку сразу: “Слушаюсь!” — кепку на затылок, браунинг в карман — и ждите через неделю в лучшем случае. Сколько раз мамочка смеялась: “Не судьба тебе, батя, окном заняться, вся жизнь наша с тобой — эскренная!” Зато теперь Мухе, уже Чайкой будучи и фактически являясь, ничего не стоит попасть к себе домой без ключа. Она скользнула в щель между черными защитными шторами. Ну вот и дома!

Пролетая над письменным столом, она нежно коснулась обложки своего учебника истории, заглянула в пересохшую чернильницу-невыливайку, тронула неосязаемыми губами свое ситцевое платье на вешалке — синее, в белый горошек, мамочка сама шила. Запах детства уже едва пробивался сквозь пыль запустенья. В легком и редком свете своего искрящегося зыбкого тела, зримого ей здесь без освещения так ясно, что Чайку почти пугают длинные, змеящиеся пальцы голубых и все же прозрачных ее рук и долгие ноги, сросшиеся к тому же чуть ли не в русалочий хвост, — видна зато каждая горошинка на платье, и знакомый узор на обоях, пятиконечные красные звездочки на желтых кружочках, и даже шрамы-царапины на дверце шкафа: МАША. Первые свои кривые буквы в жизни выцарапала ключом от комнаты — в тот же день, когда папа впервые показал, как пишется ее имя. Мама отшлепала Муху и поставила в угол. А теперь Чайке странно и смешно вспоминать, с каким восторгом пятилетняя Муха процарапывала кривые палочки, продираясь сквозь мебельный лак и волокна жесткого дерева. Ну что такого особенного? М-А-Ш-А. То ли дело — Чайка! Чай-ка!



Гордый высокий крик, мечущийся меж облаков в чистом небе. Чайка! — и черный дракон улепetyвает во все лопатки на свой секретный аэродром, — знает кошка, чье мясо съела, как Сталин писал. Что ж, на то она и Чайка!..

На обеденном столе, прижатая солонкой, белела мамина записка. Протянув руку, Чайка осветила тетрадный листок собственным светом пальцев и ладони — как карманным фонариком. Проступили из темноты слова, которые Чайка помнила уже наизусть:

Доча!

Мы с папой вирнемся недели через две, уезжаем эскренно аллюр три креста. Если приедешь, а нас еще нет масло на кухне за окном макароны в буфете отварены, масла не жалея когда разогревать станишь не жмотничай. Без нас ерундистикой не занимайся срach в комнате не разводи, и не спорь с Лизаветой Родионовной, веди культурно в рамочках. За Люсей убирай как полагается, чисти зубы утром и вечером не ленись. Главное помни ты должна стать предметом нашей гордости, мы на тебя надеемся. Цулуем нашу Мушку.

*Папа и мама.*

Ниже приписано:

Р. С. Папа приказывает тебе не отдавать ни под каким видом мясо из супа Люсе так как ввиду того что в ближайшее время с питанием в городе будет архиплохо. Так что рубай свой паек сама наедайся впрок. А немца мы с папой, скоро прогоним, вернемся домой и в первое же воскресенье, пойдем в зоопарк на каруселях кататься все вместе. Будь умницей!

В углу комнаты послышался чмокающий писк.

Как последний лоскуток пламени над догорающей дровинкой, тихо светилась лунно-синеватая подковка над головкой Люси.

Приподнявшись, Люся замерла, как свечечка, смешно поводя тонкими ручками, пробуя, поталкивая, теребя пустую темноту перед собой. Чует! Или — неужели?! — видит свою хозяйку, как сама она, невидимая, видит Люсю. А хотя бы и видит — кому какое дело! Ведь если Муха не умела видеть Люсин слабенький светик, пока Чайкой не стала, это ж не значит, что и Люся всегда была такой же слепой фактически, верно? Вот летучие мыши, например, ориентируются как-то вслепую даже и в полной тьме своих пещер, да и кроты под землей, не говоря уже о простых дождевых червяках, у которых вообще глаз нет, — даже они находят каким-то духом свою дорогу, не сбиваются с жизненного пути, как говорится, — безо всякой помощи посторонней. Да ведь и Чайка уже представить себе не может, как и жила-то день и ночь, не видя настоящего света людей, животных, млекопитающих и всяких ботанических цветов, — до того привыкла к разноцветной красоте. А Люсе, может, и привыкать было не нужно, родилась такая. Почему нет? Во сне ведь все возможно.

Чайка порхнула к Люсиному ящику. И тут же отпрянула, зажав себе рот, чтоб не крикнуть, позабыв даже, что крика ее никто не услышит, да и некому слышать его в пустой квартире.

Уткнувшись в живот матери, лежавшей теперь на боку, спали двое ее новорожденных детей. Такие же белые, как сама Люся, в нежном розовом свеченье каждый, как в мягком коконе вокруг тельца миниатюрного и головки. Вытянув острую голову навстречу своей хозяйке, Люся шевелила серебряными усиками, глаза ее посверкивали шариками розового бисера — как будто улыбалась. И Чайка, сжавшись в крошечный комочек, не больше крысенка, приникла к ее большому и теплому материнскому животу.

Она снова ощущала себя под защитой неведомой справедливой власти. Как в тот миг, когда впервые у прилавка зоомагазина обняла ладонями и прижала к груди белейшее существо с розовыми глазами — и вдруг накрыла ее, Муху, не придавливая, но

освобождая, невесомая волна теплоты, обещание долгой, надежной радости. Еще удивилась тогда: надо же! Как же это получается, что вовсе не она, взрослая уже девочка, дает приют маленькой, глупой, раскоряченной крысе, с противным, к тому же, змеиным чешуйчатым хвостом, а, наоборот, эта мягкая, как тесто, с бьющимся изо всех сил под ладонями человека перепуганным крошечным сердечком, текучая вся, тычущаяся, готовая, кажется, умереть уже от ужаса, если спрятаться не удастся ей, — даже глазки зажмурила: не видеть смерти своей огромной, не чувствовать ничего, вообще не жить бы! — но именно она-то, этим-то как раз своим перепуганным страхом, беспомощностью, слепотой, — она-то и защищает, в ладонь тебе носиком влажным, доверчивым уткнувшись, она-то и утешает тебя же, огромную рядом с ней и оттого великую силу в себя принимая откуда-то сверху, распрямляющуюся над ней, доверившейся, как на страже, как бы перед всеми на свете за малышку отвечая — и почему-то до слез, буквально до слез жалея себя, маленькой крысой утешенную, — хотя, вроде, не за что тебя сегодня, Машу Мухину, жалеть, даже наоборот: пятерку по пению заработала ни за что — за любимую свою песню — “Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня...” Нет, как встал, так и не проглотить в горле комок. Как же это выходит, что вот в ней-то и есть, в крысе необразованной, твой покой сладкий и целое, можно сказать, совершенно взрослое счастье? Откуда? В чутких усиках, в пальчиках тонких розовых, бессильных почти. И, главное, хвост этот еще, хвост гадкий, — от него-то, вроде, сильнее всего и сдавливает дыхание, и слеза наворачивается, — до того его, голого, одеть хочется, спрятать. Но вот приникла она, малыха, к твоей груди, замерла, глазки-бусинки зажмурила, зарылась бледным розовым носиком куда-то под ладонь — и сами собой закрываются у тебя глаза, а дыхание опускается в живот, и вот-вот уже и сама задремлешь, и растворишься в тепле добром. Как-так? Ведь ты ж человек фактически, самое мировое достижение природы, а?..

Перламутровый, ягодный, хлебный запах материнского молока насыщает, пронизывает Чайку согревающими волнами, как будто Муха стоит, зажмурившись, под душем в бане, рядом с мамочкой, прислонившись спиной, как к стенке, к маминому скользкому, мягкому боку. Люся дышит глубоко, сердце матери бьется ровно. Дети ее вздрагивают во сне, и Чайке досадно, что нельзя остаться с братьями навсегда. Почему это, все-таки интересно, человек должен быть один постоянно, кроме сна?..

Муха-Чайка медленно отрывается от Люси: пора. Оберегающий поток тепла иссякает не сразу. Она парит в нем, как на морской волне, плавает по комнате кругами, как бы размазывая за собой нервующуюся паутинку — по ней течет к Чайке прямо в розовеющее сияющее тело Люсин спокойный сон — уже без заботы о накормленных детях, без страха за собственный пяточок безопасного пространства в осажденном городе: Чайка защитит, Муха не забудет!.. На этой волне дева-воительница и вылетает сквозь уголок рамы в черноту неба — успокоенная и даже немного сонная. Уж теперь-то Люся не пропадет — таких себе защитников родила, молодчина! С Чайкой вместе уже получается ровно три богатыря, как в сказке!..

С запасом уложившись в три отпущенные генералом минутки, Чайка вовремя находит себя висящей над самым центром Дворцовой площади. Сам бы Вальтер Иванович даже был бы точностью такой немецкой доволен, пунктуальностью-то, бляха-муха!

Она парит метрах в пятнадцати над Александровской колонной — над макушкой бронзового ангела, замершего, как на часах, с крестом на плече вместо винтовки.

“Чайка, Чайка, Первый на связи!” — голос его не бодрит ее, не заставляет подтянуться, мобилизоваться, — она зевает, сладко поживаясь, переливая внутри себя до кончиков пальцев и обратно пушистый нежгущийся заряд Люсиной нежности.

“Внимание, Чайка! Готовность номер один!”

“Есть ко-ковносить!” — она силится подавить зевок своего телесного рта и тут же одергивает себя, исправляется:

“Есть, товарищ Первый! Готовность номер один!” — все же не осознавая ни одного звука в привычном звоне своего бравого рапорта. Шевелятся, посверкивают, серебрятся упругие, нежные усики Люси, вздыхают во сне ее розовые сыновья, похожие на крошечных лилипутских поросят. Чайке вовсе не хочется рыскать по небу ночного боя, разыскивать эскренно чертова ихнего дракона. Ей бы вернуться на Суворовский, к Люсе, прижаться к ней и уснуть. Причем здесь же, дома, и проснуться бы утром, — а не в землянке, под каким-нибудь лейтенантом, который уже изгибается и бьется на ней, как лещ в рыбном магазине на углу Седьмой Советской, только что сачком выловленный из мраморного бассейна-аквариума, к стеклу которого прижалась носом — не оторвать — трехлетняя Муха, — ишь как его ломает, знает кошка, чье мясо съела, чует скорые свои похороны...

“Внимание, Чайка! К бою!..”

Вздрагивая, она собирается вся, как в кулак, старается вызвать в себе подевавшуюся куда-то ярость к не виденному никогда в жизни черному дракону. Каких только чудищ не привелось наблюдать на фюзеляжах гансовских самолетов, — и тигра оранжевого как-то заметила, и за буйволом рогатым полночи однажды гонялась, и пантеру помнит, черную, как вакса, на фюзеляже скоростного “мессершмитта”, — только дракона не встречала ни разу. Интересно, сколько еще осталось сегодня этой мороки, когда ж та минутка грянет, когда на топчане постылом очнешься — расплющенная и без дыханья?.. Нет уж, товарищи дорогие, лучше соколом погибнуть, чем ужом жить. Как Сталин-то в этой связи подчеркивал? Рожденный ползать летать не должен! Золотые слова, бляха-муха, с ними в душе и не захочешь, а кинешься в битву, против собственной воли в бой пойдешь, — вот до чего крылатое выражение!

И она принимает воинственно-вытянутый вид, заостряясь в снаряд, готовый врезаться в любую указанную цель, как полагается.

“Благословляю тебя на бой, доча!” Генерал вздыхает, как бы передавая бразды правления высшей справедливости — та уж как-нибудь разберется, боженька-то, как говорится, не фраер.

Тишина, громадная, как весь вмещаемый ею небосвод, и еще более высокая, тишина между им, генералом, и замершей, вытянувшейся уже в сияющую спицу Чайкой натягивает ее нетерпеливое стремление до острого звона во всем напряженном естестве, до голубых искр, пучком излетающих из нее туда, куда устремлен взгляд — в угрожающую ночь. В небо, рассеченное скрещенными клинками прожекторов.

“Огонь!” — и она вылетает, как пуля из нарезного ствола, — юлой вертясь, ввинчиваясь со свистом в черный ветер.

Генерал кричит ей вслед. Даже, может, фуражкой машет, не исключено. Но Чайка не в силах сдержать себя и прислушаться — и голос его замирает в треске зенитных разрывов, кваканье осколков и доносящемся снизу глухом гуле содрогаемой страждущей земли.

Она бестрепетно пересекает слепящие потоки прожекторного света, раскаленные трассы зенитных снарядов, — они бьют в черный бомбардировщик над ее головой, а сквозь Чайку пролетают даже не щекоча пронзаемую деву, — лишь обдавая мгновенным вихрем своего движения. Наверху их разрывы раскрываются огненными зонтиками. Чайка пролетает через потоки осколков и догорающих искр взрывчатки, расплавленного металла, купаясь под ними, как под сильными струями холодного душа — напоследок после парилки, где плоть разомлела и задохнулась, а холод ей в радость и на пользу. Сквозь ее невесомое, бесплотное тело падает на город из брюха черного бомбардировщика фугасная бомба. Если бы не во сне, она разрубила бы Муху пополам свистящим наискось, вертящимся валиком своего тела, — ровно

такого же роста, как сама девочка. Но сейчас она — Чайка, Чайка!..

Нет, Чайка не чувствует, как ее пронизывают звенящие трассы пулеметных очередей, посылаемых самолетом с крестами снизу, — она уже взлетела выше, смеющаяся, неуязвимая. Немец ведет огонь по маленькому краснозвездному истребителю, который попал в луч прожектора с земли, — с земли, охраняемой им, недомерком перед ревушим “фокке-вульф” с прозрачной кабиной стрелка, чье лицо видно Чайке так ясно, так ненавистно, словно в оптический прицел. Может быть, это он и есть, дракон-то? Знать бы, как он выглядит, чудак, на каком самолете летает. И вообще — человек он или вправду дракон? Не спрашивать же генерала Зукова — уж он-то уверен, что Чайка и сама в курсе. К тому же, конечно, черный дракон — это, безусловно, самая главная, фактически, военная тайна, в эфире таким словам вообще звучать не положено, иначе крышка, как пить дать. Значит, может, это он и есть — “фокке-вульф”. Ну и ладно, пусть ему хуже будет!..

Спокойно собрав волю в неосязаемую горящую точку, Чайка уверенно направляет полет на эту прозрачную кабину, прямо в лицо стрелка, несущееся на нее со скоростью выстрела. Вот-вот всем существом она вонзится в его смертельный взгляд, все ускользящий от прицела ее глаз. Да перестань ты башкой вертеть, гоп со смыком, на меня посмотри, чудак!

За мгновенье до бледного лица, уже различая капли пота у него на лбу, над выпуклыми лягушачьими очками драконьими, она осознает вдруг всем телом, которого у нее сейчас нет, что геройский ее воздушный таран не расколает прозрачную кабину, не снесет врагу голову и не собьет “фокке-вульф”, — он свободно пролетит сквозь нее, как пролетали раскаленные пули, струи прожекторов и длинная тупая бомба, которая за прошедшие секунды уже, наверное, поубивала на земле людей, — простите, родненькие, не виновата, я уж и сама не знаю, как быть; все вижу, все могу, вроде, одна бы, в одиночку бы всех врагов победила, не

то что одного там какого-то дракона, да снова я что-то не так, не такая, уж и понять не могу, есть ли я вообще-то на свете или нет меня ни наяву ни во сне...

“Товарищ Первый! Товарищ Первый, я — Чайка! Дайте ориентир-то наконец, товарищ Первый!..”

“Чайка, Чайка! Слушай мою команду! Цель — черный дракон. Вперед! За Родину! За Сталина!..”

Так продолжается каждую ночь. В эти недели — каждую ночь.

Каждую ночь она над Ленинградом — среди зенитных разрывов, среди воя моторов, нытья пулеметных трасс, среди пронзающих взглядов ненависти, отчаянья, последнего страха. Верит дева, что стоит поймать на прицел своей воли взгляд врага, пустой, как дуло нагана, наведенного ей в лицо, — и заряд его черной силы вмиг будет испепелен ее поражающей правдой. Каждую ночь, вновь и вновь, вонзается плоть ее сна в железные тела драконов с крестами, с нарисованными на фюзеляжах тиграми, пантерами и растопыренными львами, пронизаемых для нее свободно, как воздух ночи и гарь разрывов, словно на самом деле живая в небе боя она одна — сгусток всепроникающей боли — они же вот-вот растают в лучах прожекторов, сон больной земли, — стоит лишь обратить их лицом к ее боли, обнаженной без страха. Каждую ночь — не побеждая и не сдаваясь, пронзенная, исполосованная огнем, сталью, свинцом, безумием зла, — оставаясь неуязвимой, вечной и виноватой перед всеми, кого не сумела спасти. Каждую ночь.

Не зря, значит, с детства мечтала стать летчицей, посещала без пропусков и прогулов кружок планеризма и даже была один раз на экскурсии в аэроклубе, где трогала рычаги в кабине настоящего самолета-биплана, а что мотор у него был тогда снят, так это фактически не играет никакого значения.

С Лукичом Муха больше не ссорилась, жили они дружно и бестревожно месяц за месяцем. И всякий раз, вылетая по ночам



исполнять секретный приказ генерала Зукова, просталась Муха с Лукичом спящим, как с родным.

Потому и плакал он, чудак, открыто, вытирал слезы с усов в том мысленном видении шагающей на расстрел Мухи, неся вместе с Санькой Горяевым, и Севкой, и генералом Зуковым уютный приветливый гроб с геройским телом мировой девчонки Мухи — на хрустальных столбах, под нудный похоронный марш и резвую “Рио-Риту”. Так и хотелось обнять его от души, старенького, прижаться щекой к его щеке, да жалко было розы на землю сбрасывать, — вся ведь Муха в белых розах — вот бы Вальтер Иванович порадовался!..

Она не замечала, что походка ее то замедлялась — в такт похоронному барабану и басовитым трубам, — то приплясывала и летела, когда верх брала жизнерадостная “Рио-Рита”. Ей казалось, что по ровной дороге, укатанной немцами навек, она бредет уже не первый год, но сверкающий полдень не кончится никогда, не погаснет.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

*В которой за Муху молится сверчок,  
а Смерш-с-Портретом протягивает ноги  
к желанной невесте.*

В черной рассевшейся баньке, где разместился капитан-смерш, Мухе сразу стало душно от раскаленного гневом мужчины. Так пахнет матерый мыш в мышеловке.

— Век тебя дожидаться прикажешь? — сразу начал допрос капитан, исподлобья взяв на прицел Муху, застывшую на пороге. — Следы заметала? Версию сочиняла? Мы за тобой уже давно наблюдаем, учти, нам про тебя все известно досконально...

Смерш примостился боком на лавке у оконца — сухопарый, с круглой полыселою головой. Он чистил, брезгливо скалясь, свой знаменитый именной жирно вороненный наган серым носовым платком. Налил в кружку молока из надколотой крынки, выпил рывком, как самогонку, и снова занялся наганом.

Полуденное солнце протискивалось в баньку сквозь узкое закопченное оконце, трогало светом, не брезгуя, гору лысых веников у стенки, в углу — паутину, растянутую в три слоя, уже давно мертвую, с дырами лохматыми от мух, пробивающих ее безнаказанно. Под руинами каменки бобыль сверчок светло молился во сне. Полок так зачернен угаром, как будто заброшенную баньку на задах лесной псковской деревни Шисяево прожгли насквозь не только отступавшие немцы, — но совали сюда свои факелы еще варяги, орда и рыцари-крестоносцы. Видимо, ни одна война от сотворения мира не обошла стороной щелястые ее стены, в

каждую междоусобицу и брань не забывал пхнуться в безвинную баньку пламень, не скупясь оставить жирный нагар на лавке, на потолке, на жестких усах и коленях сверчка неопалимого, — который молился теперь за Муху.

Над уцелевшим оконцем висела лыковая мочалка. Зеленая от плесени, как клейкая медуза: обожглась об нее Муха в раннем детстве, отдыхая с папой и мамочкой в санатории НКВД, в Сухуми. На берег медузищу выкинуло волной, и Мушка трехлетняя стала в нее сразу обеими ножками, еще и попрыгала. Надо же, — снова встретились!

Немного выше мочалки сам собой по праву гордился с прибитой гвоздями бумажки принципиальный профиль товарища Дзержинского из журнала “Огонек”. Вся дивизия знала про портрет с длинной ноздрей и мелкой бородкой. Про штучный тульский наган с инкрустированной рукояткой. Именным оружием наградил смерша, тогда еще рядового бойца Кузнецова, сам нарком Ежов — за предотвращение группового побега опасных заключенных — раскулаченных.

Еще капитан был известен монашеской неприхотливостью в командировочных условиях и любовью к ледяному молоку со льда, чтоб из погреба только сию секунду. Все знали, что он некурящий, непьющий, никогда в жизни не матерится, зато брется аккуратно и перед завтраком, и после ужина, однако лютую шерсть на лице осилить не может. Все про смерша ведала дивизия. Как про школьную бесконечность Вселенной — веря и не веря, зная и не зная. Рассказывали о повадках капитана — как о курортных забавах Клавдии Шульженко — с крепостной улыбкой Арины Родионовны над михайловскими шалостями генерального воспитанника.

Перед явлением капитана Санька Горяев разведал, что вблизи передовой предпочитает Смерш-с-Портретом дислоцироваться в овинах, сараях, нежилых баньках. Что, зачитывая приговор, он оглядывается на товарища Дзержинского, и томно, со стоном и

оханьем, сморкается в сырой платок, и давит пальцем у глаза гриппозную слезу. А под настроение, когда, как говорится, в духе, он и в исполнение приведет собственноручно. Тут же, не отходя от кассы, у стенки этой самой баньки, сморкаясь и охая. Интересно, что делится капитан, не зажмуривая левый глаз, — обоими сразу. Смотрит при этом как будто слегка вбок, точно косоглазый. Поэтому выстрел всегда происходит неожиданный. А без последнего страху помирать, говорят, легче. И ни разу еще не случилось, чтоб именно наган промахнулся: с одного выстрела в рай оформляет — без криков и дерготни. Никаких с ним хлопот и расстройств личному составу: расстрелянного унести да зарыть — двадцать минут помахать лопатой — мировой смерш!..

Деликатно пропустив мимо ушей первые пустые вопросы капитана, Муха погромче утерла нос рукавом гимнастерки, прижав пальчиком болтающийся манжет не по росту выданной солдатской одежды.

— Смирно! — крикнул капитан, не глядя на Муху, продолжая вертеть барабан револьвера и тыкать пальцем, обернутым в платок, как в презерватив, вдоль белых ложбинок. — Как стоишь?!

Муха встала еще смирней. Голову со вздохом подняла. И уставилась в оконце за спиной капитана. Светло там, за стеклышком грязным, хорошо, ясно.

Капитан Кузнецов чавкал носом. Прилагал воспитанно к ноздре промасленный платок. С каждым всхлипом он вылавливал в воздухе потайные Мухины умыслы — так она думала и старалась мысли свои далеко ото лба не простирать.

А насморк у капитана был служебно-боевой, как у других ранение или контузия. Просквозило сибирячка на Ямале, где служил он под Лабитнангами в конвое. Зеки пословицу пустили: “Ямальский конвой — особый конвой: шаг влево, шаг вправо — побег, огонь!” Окончательный диагноз “хронический ринит” через духовный кризис и посредством сознательного осмысле-

ния по-новому сформировал мирозерцание молодого воина. В частности, Кузнецов, год за годом мужая под влиянием диагноза, по крупице завоевал в боевом коллективе исключительное, справкой и печатью подтвержденное право как бы не ведавать запаха собственных сапог и портянок, быть выше. А в командиры пробился — и впрямь запамятовал свято, как лабытнангскими жемчужными ночами возлагали ему сослуживцы на храпящее без зазрения лицо собственную его легендарную портянку с негуманным духом газа, осужденного женевской конвенцией.

Теперь же от капитанской забывчивости засвербило в горле и у Мухи. До слез. Ну, она и чихнула. Доверчиво, по-детски.

Воздуху набрала — и снова бухнула. Отчаянно теперь, надсадно. И замерла, сомкнув рот бездыханно, зажмурив глаза. Пронырливый мышиный запах и в уши ей лез, и за пазуху. Тянуло выскочить за дверь.

Капитан смотрел на Муху исподлобья, гонял свои крутые желваки так, что уши шевелились. Обдумывал какую-то надменную, трезвую мысль. Уголок его верхней губы подернулся. На пегих обмороженных скулах капитана топорщилась вороная цыганская щетина.

Трепетала дева, сипя. Унять силилась убойный третий чих. Он у нее с детства самый бедовый завсегда — третий. Не удержать его, допустить — затыкай, братцы, слух, прогрохочет канонада до отбоя, будьте уверочки. Причем сама Муха тут совершенно, как говорится, ни при чем, конституция такая. Аллергическая наследственность, прямо жуткое дело. Вместе с родинкой под левым глазом от бабушки Александры перешло. Чихала же бабушка Александра обязательно с удовольствием, хотя и будучи культурной сельской учительницей, притом орденосец к тому же, отмечена грамотой наркомпроса, сам Луначарский подписал. Прочихается бабуля — и строго Мухе напомнит: так, мол, никогда не ведут!

— Ат-ставить! — приказал капитан, ошарашенный третьим Мухиным взрывом. — Ты чо такая-то, дева?!

Муха махнула рукой горестно. Ослепшая, задыхаясь, она уже снова жаждала небом уловить критическую пылинку — запальную. Закатила глаза истомно, руки крылами раскинула. Духом реяла дева, как во сне, в небе, недостижимая для Смерша-с-Портретом и всей войны.

Нежнейшие воздушные токи под сводами ее гортани наконец слились. Сверкнул снаряд освобожденья. Фугасный чих грянул в дрогнувшие стены баньки ударной волной. Стекло из оконца упало к ногам капитана и расколосось пополам наискосок.

Освободясь от заряда, Муха отмякла. Вынырнула головкой на слабенькой зеленой шее — как русалка над ряской пруда. И пала на лавку у двери, к стенке откинулась, очами небесными поводя. Сказала распевно, как во хмелю:

— Ничего-о-о-о, товарищ капитанчик. Я тут почижаю у тебя маленько, ага? А то совсем уж, бляха-муха... Вы пока извините меня, дедушка, я тихооооонечко-тихоооохонько, у? Ладушки?

И поникла лебедушкой, ткнулась под крылышко белого своего носового платочка, радуясь, что не видит ее в сопливую данную минуту жизни Вальтер Иванович, — враз бы выставил за дверь.

Она уже не имела сил на страх. И потому верила, насморк ее перед смертью будет прощен. А может, еще и пожалеет Смерш-с-Портретом такую миниатюрную, послушную, сопливую девочку, тем более, не виноватую ни сном, ни духом.

Подлаживаясь доверчиво под скрытую отцовскую натуру очередного хозяина своей оставшейся судьбы, Муха сняла пилотку, сунула ее под ремень сбоку и со всхлипами, писком и квохтаньем чихнула еще дважды — не сдерживаясь, от души, проливным детским страданьем заслоняясь от сухого носа товарища Дзержинского с длинной черной ноздрей: авось побрезгует соплячкой. Так привыкла обороняться в детстве от поучений в школе и дома.

— Всссстать! Сссмирррррно! — рявкнул капитан шепотом.  
— Всссстать тебе сссказано, сссстерррва!

Муха вскочила. Пот ее прошиб, а зрелый очередной чих обратно сглотнулся. Шепот капитана просвистел серпом — Муха вся замерзла. Дрогнул живот: конец — трибунал — расстрел. И в гробу с белыми розами не покачаешься на золотых цепях, не полагается диверсантам гроба. И запах в избе не от мышей, а от самой Мухи, будьте уверочки, — от скорой Мухиной смерти. Придется готовить генералу Зукову другого аса для ночных летучих боев. А как же там теперь, кстати, в Ленинграде-то, Люся с детками одна останется? Нашла когда рожать, чудачка...

Но раз уже все равно стенка так и так, Муха решила тем более ни за что не просить прощенья — еще чего, мерсите вас с кисточкой! И не отвечать на подлые вопросы капитана. И протокол не подписывать категорически: неграмотная, мол, бляхмуха! Так ее и направляли с утра у землянки Василий Кольванов и Санька Горяев, чей давний сюрприз у нее в заднем кармане тоже все-таки очень поддерживал Муху на плаву. Дважды уже от смерти спас: вчера ночью и тогда, в сорок первом, на просеке подо Мгой. Авось и нынче не выдаст, не промахнется в упор мимо хозяйкиного лба, уж будьте уверочки!

Следя искоса, чтобы капитан не заметил, Муха отвела правую руку за спину, проверила, на месте ли маленький вальтер. Он лежал в жопнике ее свисающих штанов-галифе смирно, будто помнил о вчерашнем незабвенном подвиге на темной лесной дороге и тихо ему радовался.

Муха же рада не была.

Собственно, перед обыкновенным бы смертным человеком, или даже, пускай, офицером, ей нечего было бы и скрывать. Да и так, небось, вся рота, а может и вся дивизия знала уже от разведчиков о вчерашнем Мухином подвиге в темноте. Вот и принесла не легкая Смерша-с-Портретом из-за вечной нашей же собственной трепотни. А и чего уж такого она натворила, если по-

человечески разобраться? Подумаешь! Какой-то пьяный ганс получил свое — только и всего. В общем, служили бы в “смерше” нормальные фронтовики — Муха бы, может, и не чихнула, едва войдя в баньку на правож. Нет, она прекрасно понимала, по смертному запаху чуяла: “смерш” — дело нешуточное. Тут уж ни на какую нормальность рассчитывать не приходится. Онеметь бы вот — другое дело. А то обведут вокруг пальца и не заметишь, ни за грош сгинешь. Да, стоять и молчать. А в случае чего...

Рука ее опять потянулась к заднему карманчику. Но под взглядом капитана упала.

И снова запричитал в тишине, затянул свой псалом одинокий пожизненно счастливый монах сверчок. Муха же вдруг сказала кому-то молча — то ли сверчку-дурачку, то ли самой себе, то ли Вальтеру Ивановичу, со вчерашней ночи все улыбающемуся ей с неба благодарно и ободряюще: “А бога-то нет!” И так же неожиданно, сами собой хлынули у нее слезы.

Позавчера вечером Муху послали с пакетом в дальнюю тыловую деревню, в штаб дивизии.

— Туда и обратно — пулей! — командир роты пригрозил ей пальцем, натянул брюки и провел себе ладонью по усам, схаркнул в угол, гимнастерку одернул бодро.

Муха слушала его вполуха, медленно остывая на широкой лавке, раскинув усталые бедра. Одной рукой себе гладила намятый командиром живот, другой, указательным бледным пальчиком с черной каймой под обгрызленным ногтем, обводила бездумно золотые сучки на тесовой стене командирской просторной избы.

— Ты сюда слушай мне, а не в стенку! — прикрикнул майор Гнедко. — Да грех-то хоть свой прикрой: страм ведь! Ни стыда уже ни совести, слава богу, все уже потеряно, до конца, до точки, падло! Что с людьми война творит, — уму непостижимо, ебена мать! Прикрой шахну, тебе сказано, кривосачка!



Муха тихонько, журчливо засмеялась. Натянула трусы, радуясь упругой надежности не порванной спокойным хозяином резинки, стала лениво застегиваться — зевая, не попадая пуговичками в широкие разношенные замусоленные петли.

— Как стемнеет — картошки полопаешь — и чеши себе по немецкой дороге напрямиком.

Муха кивнула, прикрывая зевок ладошкой. Гнедко сегодня вызывал ее дважды: после завтрака, да перед обедом снова приспичило суковатому. Так что это уже третий раз — на сон грядущий ему, а ей — на посошок перед дорогой. Второй год ни одна пуля, ни мина, ни осколок не берет майора. Единственного, кого знала за это время. Остальные-то все в могиле, как положено. А ведь какие были мировые парни, интересные, представительные мужчины! За что ж ему одному такие надежные льготы, интересно?

— Не сворачивай только, не то заплутаешь, как пить дать. Вишь тут у их как? Тупиков понарублено. А ты прямо все шпарь, тупики до тебя не касаемо, пускай. Прямо сыпь, не сворачивай. Да не усни там, в лесу-то, под елкой: ишь глаза-то слипши совсем. Вообще на земле сырой не сиди. Дура. Придатки простудишь враз. Возися с тобой опосля, во фронтовых-то условиях. И так уж Лукич твой сколь разов на коленях меня просил: отпустите, мол, наконец, в нормальную боевую землянку жить, не могу больше в кильдыме, говорит. А что я ему отвечу? Муха ведь тоже человек, правильно? Значит, надо по-людски и решать вопрос. Кто ж за тобой-то присматривать согласится, если не контуженный человек по кумполу? Конечное дело, штрафбатом ему пригрозил опять и прогнал... Да ты спишь?

Она вздернула подбородок и снова завозилась с пуговицами на груди, не в силах доковыряться до петельки. Командир сам натянул ей брюки, застегнул ремень, матерясь сквозь зубы и приговаривая:

— И за что ты мне на голову свалилась, русалка малокровная?

От его ворчливой заботы Муха проснулась окончательно и сразу развеселилась. Чмокнула Гнедко в усы и повисла у него на шее, дрыгая ногами и повизгивая, как в детстве с папой.

— Балуй мне! — прикрикнул командир.

А когда она встала на пол снова, уже загрустив и обидевшись, он подал ей запечатанный пакет:

— Как следует спрячь, мокрохвостка! Чтоб даже при обыске не обнаружили. Ну-ка, сообрази!

Муха взяла пакет с толстой кляксой сургуча и показала командиру нежный анемичный язык. Задрала спереди подол гимнастерки и белой солдатской рубахи, заныкала военную тайну к себе за пояс, под резинку трусов, и неторопливо заправилась. Не обращая внимания на его хохот, Муха деловито отдала майору честь, вертанулась на каблуке и по самой узкой половине, поджав левую ногу, проскакала от стола до двери, — сама с собой на спор и, разумеется, выиграв. Перепрыгнула широкий порог. Все продолжая шалить, на одной ноге слетела с крыльца на землю — ловко и весело, как настоящий одноногий инвалид.

Краснеть и смущаться, застегиваясь и расстегиваясь при мужчинах, Муха не умела давно. С той ночи, когда ее подпоил разведенным спиртом и осторожно, ласково изнасиловал первый фронтовой хозяин — тридцатилетний старшина Быковский, который подобрал ее на вокзале в Демянске, где Муха вторые сутки бредила в забытьи от крупозного воспаления легких. Быковский пристроил ее в лазарет и после выздоровления отдал Муху в поварята на ротную батальонную кухню. Когда же она отъелась, решил сделать ее своей “коханечкой”. На следующий день старшину располовинил на дороге мимолетный “мессершмитт”. Услышав об этом, Муха равнодушно кивнула, поскольку уже с утра знала, что глупому старшине теперь почему-то придет каюк, так или иначе.

...Секретный пакет быстро обмялся у нее под ремнем. Сургуч на теле согрелся и уже не царапал Мухе пуп. В лесу было

темно и сыро. Опустив на уши крылышки пилотки, сытая и все еще сонная, Муха дремала на ходу, пользуясь немецкой солидной работой: дорога была ровная, как асфальтированное шоссе, устроенная гансами навек. Она служила в темноте вражеской Мухе, как честные немцы умеют служить — будто не чуя, чьи сапоги ее топчут. И шла себе Муха да шла, позевывая. Путь сквозь лес, прямой, с редкими плавными поворотами, — скучный путь. Чтобы прогнать сон, Муха достала свою любимую миниатюрную зажигалку и стала чиркать колесиком на ходу по немецкому кремешку, — то вызывая пламя, то сдувая с фитиля нежный огонек-лепесток, как со свечки торта, приготовленного мамой ко дню ее рождения.

Хотя она и не курила, зажигалок у Мухи в сидоре набралось уже штук тридцать, не меньше, — целая коллекция. По традиции Санька Горяев подбивал каждого нового лейтенанта из пополнения поспорить на “американку”: проглотит Муха сразу полный стакан водки — моя взяла, поперхнется — твоя, а проигранную зажигалку салажонка обязывали отдать самой Мухе, некурящей, — чтобы стало ему еще вдвое обидней. Мухе же — память — зажигалочка. Ведь судьба-то у лейтенанта короткая, как детское счастье от заводной игрушки. С этой “американки” частенько и завязывалась у нее с лейтенантами короткая и грустная ночная дружба — до близкой разлуки навек.

Кроме таинственного лошадиного уменья глотать на спор живьем водку как воду, лейтенантов в Мухе восхищало дикое бесстрашие в боевой обстановке. Умела почему-то девочка Маша Мухина, семи классов от роду, не бояться немецких трассирующих очередей за смертью. Когда они ныли над головой пулеметчиков, будто злясь от промаха, Муха в окопе хохотала, как от щекотки. И слышала, как у нее на спине, на круглых косточках тонкого позвоночника, поднимаются дыбом белые волосики, упругие, как еловая хвоя. И била, вцепившись в рукоятки пулемета, до зубовного скрежета, — по зубам била лезущих в пьяную

“психическую” атаку упырей из германских жирных болот. Видела даже через прицел, как попадала иногда по зубам, — и тогда опускала голову и кусала рукав гимнастерки, сухой от пыли и горький от смерти чужих вражьих душ.

Как-то после боя к ней подошел Кольванов Василий и сказал:

— Если б ты нас не прикрыла сегодня, не сносить бы головы. Ни мне, ни Старостину тем более. Факт. Так что вот — тебе!

Он отцепил со своей широкой груди медаль “За отвагу” и приколот ее Мухе. Она достала зеркальце, заглянула в него на Муху при медали, пилотку поправила, набок головку склонила — и вдруг расхохоталась. Сняла награду, подкинула на ладошке и ткнула заколкой Кольванову в пузо.

— Неприлично мне, Вась, — пояснила Муха. — Подумай сам-то. Как начнут на мне по ночам ордена-медали звенеть да побрякивать — гансы враз засекут по звуку, всю задницу разбомбят какому-нибудь лейтенанту героическому. Ты бы, Вась, подарил бы мне лучше зажигалочку: любительница ведь я, а зажигалочка у тебя мировая.

Кольванов плечами пожал и молча отдал ей свою верную зажигалку, хорошо известную всей пулеметной роте. С ней-то теперь Муха в лесу и баловалась. В сотый раз, наверное, пустила пламя на фитилек — и фукнула. И снова чиркнула по кремешку. Снопик искр блеснул коротко и тревожно, пламя же не родилось. Она опять крутанула ребристое шершавое колесико. Снова вспышка — и темнота. Муха оглянулась по сторонам — впервые, может, за последние полчаса — и обмерла.

Мамочки! Ведь заплутала, бляха-муха! Явно заблудилась. В боковой, наверное, тупик забрела, чудачка. Непроглядный лес вокруг, а должны бы уже помигивать огоньки Шисяева, где разместились в двухэтажном здании школы новый комдив со своим штабом. Полковник темноты не любил, а немцы по тыловой деревне не били: снаряды экономили. Вот и сиял в глубине псков-

ских лесов его превосходительство штаб — во все шестнадцать окон длинного школьного здания. По ночам комдив работал. И курил трубку. Как Сталин.

Муха подошла к высокой елке, обняла ее по-свойски, щекой припала к теплой сухой коре. Поняла, что придется топать в обратную сторону. Села на корни, покрытые упругим слоем хвои, и заплакала. Но тут же вскочила и засмеялась.

По дороге, как будто к ней на свидание, уверенно шел, пошатываясь, высокий офицер. Рядовые бойцы так жизнерадостно не шагают. Шапки на нем не было, а сапоги били дорогу по-русски.

Муха сразу стала спокойной и смелой. Она вышла на середину дороги и двинулась навстречу мужчине. Так же, как и он, покачиваясь, готовясь столкнуться с пьяным по-пьяному и облить его приготовленным заранее зарядом матерщины — просто так, на добрую память и смеху ради.

Мужчина махнул ей издали рукой, закричал что-то, непонятно какое — то ли веселое, то ли грустное. Побил себя по карманам, достал курево и долго чиркал зажигалкой, впуская.

Подойдя к нему, Муха снова достала свою любимую колывановскую зажигалку-патрон. Загадала про себя: сработает зажигалка — будет у нее с высоким, представительным офицером веселым нормальный марьяж, не сработает — ерунда получится и чепуха. По правде-то говоря, не совсем это было честно с ее стороны, потому что кроме как на дороге десять минут назад, ни разу не подводила Муху безотказная игрушка: вспыхивал ее фитиль от первого, самого легкого нажатия на рубчатое колесико, пламя являлось высокое, чистое, острое, как лезвие перочинного ножика. И, давая незнакомому офицеру прикурить, Муха заранее гордилась его будущей завистью к зажигалке, готовя презрительный ответ на глупое мальчишеское восхищение.

— Зер гут! — он покачал освещенной своей, ярко-белой остзейской головой с офицерским прибором и смахнул с майорско-

го витого серебряного погона об одной звезде отлетевший от сильного пламени дымящийся кусочек немецкого деревянного эрзац-табака. И поднял на обомлевшую Муху синие глаза Вальтера Ивановича с красными от шнапса белками.

Заряд мата вылетел из узкого горлышка юной пулеметчицы просто — как воробей. Даже и языком перемолоть не успела. Бухнула — и глаза немца сползли к переносице, как от боксерского удара.

— Извините, — пробормотала Муха, покраснев. — Я нечаянно. Вы не обижайтесь, товарищ майорчик! То есть какой там товарищ, бляха-муха! Просто вы на одного человека похожи — жуть!..

Офицер поклонился фройляйн, церемонно нагнув голову и разболтав свешенные вперед руки. Щелкнул каблуками, повернулся резко кругом, вновь отщелкнув, и пошел по дороге прямо и трезво.

Муха пошла в противоположную сторону.

Но уже через три, наверное, секунды она вспомнила про Вальку в заднем кармане. Быстро достала пистолет и бросилась вслед немцу, стреляя и ругаясь сквозь внезапные слезы девчоночьего злого стыда.

В ответ ей грохнул тяжелый парабеллум. Но майор был уже почти мертв, и пуля ударила в твердую немецкую дорогу, рядом с его начищенным сапогом. Пошатавшись, воспитанный немец взвыл и вернул Мухе ее славный мат ровно в том же порядке, как получил по зубам. Финальное “пляха-люха” уже прерывалось его последним хрипом. Муха зажмурилась и выстрелила еще три раза, выкрикивая пулям вслед: “Предатель!.. За зенки твои бесстыжие! За Сталина! За всех за вас, кобелей!..”

Как случилось, что немецкий майор, хотя бы даже и пьяный, заблудился на немецкой дороге? Муха не мучалась этим вопросом. Ей не было жаль немца, не было больше стыдно за свой мгновенный страх семиклассницы перед красивым пробором

деревенского молодого учителя. Мысль о Вальтере Ивановиче, на которого майор был похож почти неотличимо, юркнула во тьму прошлого, испугавшись самой себя. Муха пнула ногой лакированный ботфорт майора, вlepила ему на всякий пожарный случай еще пулю — в сердце — и пошла из тупика вон. Чудным каким-то духом определив кратчайший путь до штабной деревни, где ждал комдив важных известий из пакета, уложенного четырнадцатилетней дурочкой под резинку трофейных трусов.

Но в штабе, когда отдала пакет, ей стало вдруг плохо, чуть не стошнило на ковер. Усатый адъютант полковника, отпoив Муху водичкой, уложил ее на диван в учительской, где была теперь приемная с графином на столе. Выслушал терпеливо ее причитанья по “беленькому такому, молоденькому” майору СС, — опознал адъютант по рассказу Мухи о черном “миниатюрном” мундире, — и решил выполнить вдруг инструкцию, сразу же после ее ухода позвонил в смерш...

В темной баньке капитана Кузнецова, под скрип сверчка, Муха уже начинала понемногу понимать, что завязла основательно. Вот ведь угораздило вляпаться! Санька ее сегодня предупредал, что никакого трупа найти смершевцы не смогли, причем в соседнем полку как раз пару дней назад пропал без вести в районе немецкой дороги молодой майор, блондин голубоглазый. Муха же была на месте. Живая. И очень, очень подозрительная в подобной ситуации дурацких совпадений.

— Так будем заpirаться? — спросил ее капитан, уже ненавидя невинный, отсутствующий Мухин взгляд. — Сдать оружие!

Бездумно повинувшись командирскому металлу в его голосе, Муха достала Вальку и положила его на стол капитана.

— Вот так-то лучше, — он отвел затвор пистолетика, понюхал. — В кого стреляла? В своего брата, советского офицера!

Убила настоящего нашего майора, а труп спрятала. И врешь теперь, что он был немецкий. Так? Говори! Ну!

Капитан грохнул наганом об лавку. Стал угрожающе трубно сморкаться в свой замасленный платок.

Он устал кричать, злиться и грохотать об стол наганом. Никто никогда не любил его, сироту, лысеющего тридцатисемилетнего мужичка с лицом серым и скучным, как его носовой платок. В молодости любить девушек он боялся из-за малого своего веса в их глазах. На севере было не до того. Теперь — война. А девчужка, стоявшая перед ним, известная ему как безвредная, дурная, неразборчивая малолетняя давалка, оказалась просто прекрасная красавица из народных сказок. С небесно-ясными очами жены верной и по-тихому родной, прохладно-нежной и жаркой в то же самое время. Она будет любить мужа своего законного так же смертельно, как убивала свою красоту на безвыходной войне злобой, матом и водкой, — это капитан Кузнецов понял с первого взгляда. И решил он на Мухе жениться. А начать это дело прямо сейчас. На войне. В этой самой душной баньке без хозяев. Жениться по-настоящему, на всю жизнь. И забрать жену к себе, в смерш. И возить всюду за собой — вместо измятого и надорванного портрета Дзержинского с козлиной его бороденкой. Жена юная будет зачитывать приговоры взволнованным, правдивым комсомольским голоском, он — приводить в исполнение.

Капитан протянул руку и сдернул со стены Дзержинского. Порвал и выбросил за окно.

Муха перестала дышать. Она поняла: смерш с ума спрыгнул.

— Мухина! — сказал капитан глухо, глядя в сторону. — Уважаемая Мария Ивановна! Пожалуйста, не сердися на меня, что я на тебя орал. Ты мне очень понравилась сразу. Давай поженимся завтра у полковника. А? Я тебя люблю ведь — вот на! — он перекрестился трижды и поклонился ей в пояс.



Муха упала в обморок. Обратно на лавку у стены.

Капитан достал расческу и причесал лысину. Налил молока из крынки в кружку и поднял Муху на руки. Усадил бесчувственную невесту к себе на колени и стал целовать ее голубые пальчики. Сверчок под каменной пускал длинные ободрительные трели.

Очнувшись, Муха тихо улыбнулась. Уткнулась носом капитану в шею. Кузнецов гладил ее по спине и уговаривал:

— Война кончится — заживем себе тихо. Да? На руках носить буду. Сам за картошкой, сам за скотиной пригляжу... Не веришь? Я знаешь какой? Таких пельмень понаделаю — за уши не оттащишь. Молочка хочешь?

Он взял со стола кружку и стал поить Муху осторожно, по глоточку, чтобы холодным питьем, принесенным из погреба трясущимся старичком-хозяином соседней крепкой избы не застудила бы девочка свое нежное розовое горлышко, откуда дыханье доходило до ноздрей бедного Кузнецова с молочным сладким запахом вместе.

Успокоившись, Муха поцеловала его в щеку и сказала:

— Нет, товарищ капитан. Не надо. Я не люблю никого пока что, по-моему. Полюблю — выйду замуж сразу. А так — не могу. Пожалуйста, отпусти меня, устала очень, мировой ты товарищ, оказывается. А хочешь — я на полок прилягу...

Она встала с колен капитана и взяла со стола свой вальтер.

— Врешь — не уйдешь! — крикнул капитан радостно. — Вот я тебя и поймал, проговорила! Что? Здорово обманул?..

Он еще и сам не знал, как повернет это неприятное дело. Надо же так промахнуться! Нет, теперь не годится курву отпускать: на всю дивизию раззвонит про его сватовство. Что делать-то?

— Отставить! — приказал он тихо, уверенный, что Муха сразу бросит пистолет. — Сми-иирно!

Голос у него сорвался, дал петуха, и Муха засмеялась. Она засунула пистолет в задний карман, застегнула гимнастерку и шагнула к двери.

Капитан прыгнул с табуретки к столу и схватил наган.

— Стой — стрелять буду! — крикнул он уже по-мужски. — Отойди от двери, ссуч-чара! И не вздумай шутить — стреляю без предупреждения!

Муха сощурила глаза и подбоченилась, перебирая в памяти самые хлесткие, по мужскому петушиному самолюбию режущие бритвой словеса. Стиснула зубы — и...

— Мааашенькаааа! — простонал капитан больной коровой. — Не губи, родимая! Дай хоть разок тебя поцелую-то...

Он снова швырнул свой наган на стол с досадой: не ожидал от себя таких слов.

Муха достала вальтер и щелкнула затвором, подгоняя к выстрелу не замеченный капитаном последний патрон.

— Убей! — Кузнецов кивнул. — Мне все равно теперь...

Он тщательно вытер губы сухой маленькой ручкой, раскрыл объятия и пошел на Муху, как на геройскую свою смерть, — зажмурившись.

С пистолетом в вытянутой руке Муха отступала, пятясь, пока не прижалась спиной к двери. Ключ ткнул ее в зад — и ее дрогнувший палец сам собою нажал на нежный спуск маленького послушного Вальки.

Хлопок заряженного Санькой Горяевым шуточного патрона — и лицо капитана Кузнецова покрыто копотью грязного пороха, а в улыбающихся перед поцелуем зубах — застрявшие волокна разбитой выстрелом ваты.

Решив, что он убит наповал, Кузнецов застонал, схватился за лицо обеими руками и упал. Протянув ноги к желанной невесте, капитан дернул всем телом и затих, ожидая полной смерти за свою несвоевременную позорную любовь.

Опустившись устало на пол у двери, Муха с тоской разглядывала свой дареный пистолетик. Посмотрев на капитана без удивленья, она как бы увидела снова того немецкого майора, — на его, капитана, месте. И вдруг опять, как в приемной комдива, до

слез пожалела о нем. Захотела она, пулеметчица безжалостная, чтобы не этот патрон, спасший ее от поцелуя, оказался холостым, а вчерашний, убивший красивого высокого Вальтера Ивановича голубоглазого, который так низко ей поклонился на лесной дороге, будто благодаря от души за будущую свою через минуту смерть с Мухиным матом на губах вместо давно заслуженного ею поцелуя. Муха поняла снова, как вчера, когда стучала зубами о край стакана с водой в приемной комдива, что любит убитого немца, то есть Вальтера Ивановича, за нее погибшего, на всю жизнь, не забудет его никогда и на всю свою жизнь теперь из-за позавчерашнего пьяного эсэсовца (если б не он, то и Вальтер Иванович для нее оставался бы до сих пор жив) — на всю долгую и одинокую теперь жизнь она останется пустой и холодной, как сапог жалкого Кузнецова. Напрасно, напрасно искала она в своих ночных полетах единственного желанного Вальтера Ивановича, — и вот сама же вчера и убила его здесь, на земле.

Слезы покатались из ледяных ее глаз на белый ствол холодного теперь вальтера...

Кузнецов приподнял голову со стоном и снова грянул затылком об пол.

— Хватит! — приказала Муха. — Вставай, мудило грешный! Веди меня на губу. Ну? Слыхал? Я в тюрьму хочу! Под арест! На расстрел, бляха-муха!

Капитан мыкнул обиженно. Стал вынимать брезгливо изо рта вату Санькиной “думочки”, провезенной ленинградским лиговским шалопаем через войну туда и обратно.

— Вставай, проклятем заклейменный! — Муха бросила в капитана свою пилотку. — Давай, делай свое офицерское дело! Сейчас я разденусь...

Она стянула через голову гимнастерку вместе с рубашкой. И приподнявшийся Кузнецов вновь повалился с мычаньем, срезанный святым молочным светом ее груди.

— Ну! — крикнула она. — Быстро, по-военному, бляха-муха!  
И стала стаскивать сапоги.

Кузнецов поднялся. Помотал головой, сплюнул в угол. Сел на лавку, у оконца. Наган спрятал в кобуру.

Слезы у Мухи пошли часто — как дождь.

— Уйди! — попросил Кузнецов, не в силах оторвать от нее свой детски-жадный взгляд.

Муха замотала головой, закрыла себе уши ладонями. Рыдала она беззвучно, а в душе билось: “Белый мой, мальчик мой... Беленький... Беляночка моя, Валечка!.. Валечек! Вальтер!.. Господин фон-барон Вальтер фон Шмальтер!.. Любимый, единственный, голубь мой беленький, сладкий мой сахарок, петушок на палочке... Валек! Где ты, родненький? Я ведь знаю, ты здесь, со мной... Во мне ты навек, — слышишь, пизденочек? Ну иди, иди же ко мне!.. О! Вальтер! Ваа-а-аааальтееррр...”

Она покачивалась всем телом, закинув руки за голову, с закрытыми глазами, прекрасная, с заломленными бровями, с горьким алым размазанным пятном неуголимого рта. И капитану стало так страшно, как не было и в мнимой недавней смерти.

Тихо и преданно молился на всю баньку придурковатый сверчок.

Муха стала одеваться.

Подобрав и спрятав пистолет, Муха застегнулась, встала и подошла к Кузнецову, улыбаясь смущенно.

— Прости меня! — она положила руку ему на плечо. — Я просто дура.

Она поцеловала капитана в висок и вышла из избы.



## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

*И — последняя. В которой Муха не умрет никогда.*

Не успела она ни испугаться, ни хотя бы услышать, как с треском и хлюпаньем продавилась насквозь вовнутрь ее лобная кость. Только вздрогнул и загудел колокол. Огромный колокол, безъязыкий. Он обнял и небо над нею, и всю землю. Посередине круглой земли лежала, поникнув на затвор пулемета, ее пронзенная навывлет голова с маленьким бездвижным телом.

Удивилась убитая дева, как это пуля, в прорезь прицела залетев, броневой щит ее максима задела, а рикошетом не вильнула, дура казенная, ровнехонько между глаз вошла пулеметчице меткой, — с влажным пузырящимся шелестом. Словно бы ткнули горячим толстым пальцем в холодную пустоту без дна, — как бы там-то ему и место, тупорылому, здрасте-посравши, дожидаться устали вас!..

Гудел колокол. Разрастался и высился раскаленный малиновый гул его. Тягостно поднимаясь в темноте сквозь густой, душный, тягучий звук под купол пустого свода, увидела Мария наверху свет небес. Он звал ее сквозь отверстие в куполе — и она поднималась к нему, становясь все легче, как во сне, — и вот выползла, вытекла из темного густого звука в небо света.

В зените небосвода, сплавленного сплошь из радуг, солнце, достигающее толстыми гранеными лучами до самой земли, неподвижно летело навстречу деве — низко, как дирижабль. Вокруг

него, как ночью вокруг луны, блистали звезды, со своей собственной радугой каждая, — голубые, зеленые, красные и множество, великое множество звезд серебряных, мелких, но также нестерпимо ярких. И смолкло все вокруг и внутри ее невесомого летучего естества, и стала дева в пространстве, в середине обнаженного бытия. И деревья леса внизу, и фигуры людей, и травинка любая на лугу, — все было объято сияньем со всех сторон. Мир, представший ей в силе и славе, лишенный теней, лежал перед ее взором омытый, объятый потоками правды.

Оглянувшись, она увидела вновь лежащую внизу Муху и плачущего Лукича рядом с ней. И материнская нежность к нему подхватила ее и подняла еще выше. Так высоко, что черные крылья мимолетного стрижа, метавшегося под облаками над полем боя, простригли насквозь ее бесплотное горло, словно бы вздрогнувшее от жалости к птице, беззащитной перед свистом пуль и осколков, перед вспышками и смрадом разрывов.

Про себя же Мария знала, что в ней явилась теперь новая неизвестная власть — взамен утлых страхов и сдавленных обид робкой оставленной на земле девочки. И власть величаявая молвила из глубин самых высоких: “Теперь. Да!”

Звуки сраженья, разрозненные и летящие в разные стороны, вдруг выстроились вокруг нее в кольцо ровного, томительно дрожащего звучанья. Хор ли испуганных птиц повинуется ритму боя, или то жалуется человеческая мука с земли, от окопов, траншей и снарядных воронок, где таились живые и мертвые тела, а быть может, шум леса, искалеченного слепыми ударами свинца и стали, сливается в продолжительный зовущий стон, — Мария не ведала. Знала одно: нет больше нужды метаться и наяву и во сне средь скрежета и визга смертельных струй, незачем искать встречи с пустым взглядом небытия, которого нет на свете. Видеть, ясно видеть всею дарованной ей свободой буйное, бурливое, клокочущее течение необходимого, медленного, раскаленного времени. В каждой капле крови его ток. В теле слепой

пули и в человеческом последнем крике. Быть ни с кем — но со всеми, кого видит ее новая родившаяся нежность.

Она знала теперь, что когда-то или, быть может, сейчас она сама выдохнула из неподвижного потока вышних радуг все, что теперь видит так ясно. Сама, своей волей поставила на середину земли, как на собственную ладонь, тельце девочки Маши, — и назначила ей так больно жить, что знать о своей боли Мухе было заповедано, ибо для разума непосильно. И глинистую влажную землю бруствера под остывающим кожаным замолчавшего максима сотворила она сама. И ту же общую, единую власть исполняет детский плач страждущего Лукича. Все, что есть, было некогда ею самой задумано, как двойной узел рвущейся вновь и вновь резинки непрочных белых трусов, — ее ж произволом и развязалось вновь. А кто-то другой свяжет иной узор — для боли и нежности небывалой, нежданной, для освобождающего взгляда любви — мучительный, светлый бред времени, алчущего вновь и вновь вкуса разумной плоти для радости своего безжалостного огня, для дыма, которым дышит и насытит себя тщится ненасытимое небо. Небо — жадное дитя в лоне бесконечного естества Марии: ведь ровное биенье солнца она слышала в себе всегда.

Теперь знала Мария: сейчас придет счастье.

Оставалось подняться чуть выше и обнять неразумное маленькое солнышко. Вместе со светлым младенцем вернуться туда, где и в помине не было ни тяжелых сапог на тонких ножках замученной девочки, ни тяжелого чужого дыханья на искусанных ее губах. Туда, где еще не родился полдень с пузатым бессовестным вечным малышом в небесной люльке, — он пускает радужные пузыри, и улыбается как во сне, и теребит материнскую грудь, как пустотелую погремушку с горошиной иссохшего сердца. Туда, где не слышен жалкий виноватый стон изнасилованной земли.

Но почему-то слабенький этот, терпеливо изнывающий на своих нескончаемых кругах плач, повторяясь, как на заезженной



пластинке, не отпускал деву подняться выше. Он пронизал ее долгожданный покой требовательно и беззащитно, как бессмысленный, злой крик голодного младенца.

Когда она поняла, что стала недвижна в зените Божьих забав, существо ее тут же окуталось холодной тенью прежних страхов, не истощенных, как оказалось, до конца при жизни с людьми и в миг последнего удара. Досадливо отстраняясь от лживого, липучего соблазна, она ждала, как распорядится ею теперь более высокая власть, — ведь преград для нее быть не должно, верно?

Однако и воля, которую она успела уже осознать как новую суть своего существа, словно бы отпрянула и стала поодаль. И во всеобщем теперь ожидании, обращенном к Марии не только сверху, но также изнутри ее сознания, сквозило неожиданное, нелепое вроде лукавство, едва ли не оскорбительное сейчас, после всего.

Ощувив легкий укол в том месте, под ребрами слева, где было прежде ее тело и сердце, а сверху платье, разорванное торчавшим из кузова полуторки гвоздем, когда увозили Алешу, она поняла вдруг, догадалась, что лукавое терпеливое ожидание силы, ее ведущей, подает деве некий знак. Голос земного страдания, между тем, только что едва слышимый, вошел в нее столь ощутимо и горячо, словно она вновь обладала плотью, вновь принимала сквозь старую рану покинутую свою боль.

Но зачем? Почему? Ведь все уже ясно до конца!..

Боль тут же отлетела, словно в ответ на ее вопрос. Но обращенное к ней ожидающее лукавство стало насмешливей и строже.

Тут горло ее снова пронзил неосязаемый, не видящий ее стриж. Как бы стремясь поддержать его на лету, жалкого, сбитого с панталыку земным бесконечным для него, беспамятного, грохотом и огнем, она протянула вслед ему руку, и, хотя дотронуться не успела, ощутила очень ясно, как из пальцев ее излетело светящееся нечто, слилось с птицей — и стриж прынул в высоту, вырываясь из мертвого пространства, покидая круги своего ада. Как

просто! — подумала она, усмехаясь непонятно чему, одновременно замечая, что, послав стрижу непонятный для нее самой подарок, она сразу же опустилась ниже над полем боя. Но отчего же при этом ей стало как бы легче дышать?

И вдруг они в ней слились воедино — вспыхнувшая вновь рана и спокойная власть, которая может сама направлять себя, не связанная никем, любя и выбирая покой либо боль, безжалостный свет — или утешительницу ночь. И не было больше у Марии ни поводырей, ни командиров. Одна лишь необходимость пути. Одна трепещущая точка света в пространстве, рожденном ее собственными долгими снами.

Радость пронзила ее, ослепив на миг.

Радость от нестерпимой жалости к тем, кто не знает великой тайны. Чей общий голос, слепой и слабый, стал вновь слышен ей так, как если бы он рождался в единственном ее существе. И куда вел он, туда она и поплыла.

Медленно, по кругу снижаясь над полем, над черным огнем и красной вздыбленной глиной. Над бегущими, спотыкающимися фигурками, — они падали, вскакивали, посылали вперед пучки огня и струи очередей. Она плыла все ниже, все ближе к ним, и вот уже стала различать лица кричащих людей. Уже вспоминая через силу, как бы после крепкого сна, которые из них кричат и стонут по-русски...

Где пролетала над боем светлая невидимая дева, там и бежали за ней, как по бронированным коридорам, недостижимые для свинца люди. Редкими ручейками, по трое-четверо друг за другом, иные поодиночке, а то уж и совсем немислимой в бою шеренгой. Перестраиваясь, как по приказу, не ведая, не сознавая, чья воля ведет их и бережет, солдаты летели вперед — и не падали, видели вспышки взрывов совсем рядом — и оставались защищены от небытия.

Она вела их и направляла по тем заведомым путям и тропам, по которым через поля боев, алчно овладевая пространством, про-

стирало по земле свою власть время будущее, никому пока не известное, — поглощая беззлобно боль и надежду всех, кто были избраны ему в жертву...

\* \* \*

За праздничным скромным столом в одну из недавних годовщин снятия блокады Ленинграда один из участников встречи ветеранов Краснознаменной пятьдесят второй стрелковой дивизии гвардии капитан в отставке, а ныне профессор Российской академии культуры милейший Моисей Будулаевич Хабибуленковас рассказывал мне по секрету:

— Я знаю, писатели всегда любят преувеличить — на всякий пожарный случай. Мне, как говорится, до лампочки, но одно уточнение я хочу, с вашего позволения, внести. Мы когда бежали на тот прорыв, снег, во-первых, был еще по колено, это раз. А во-вторых, не знаю, кто как, а лично я видел ее собственными глазами. Летела, не отрицаю. Но, во-первых, не совсем прозрачная, это раз. Я у нее не только руки-ноги видел, но и такие места всякие, что давайте лучше не выражаться при новобрачных, как Маяковский приказывал. Но что меня больше всего поразило, так это то, о чем вам написать никогда не дадут, молодой человек. А именно — белый флаг. Вы не поверите! И никто не верит. Вы представляете? Вместо красного флага в руках, — у нее белая какая-то тряпка, извините, к ноге привязана, и болтается еще и веревка. Вы понимаете политическую подоплеку? Вести людей в бой — и под белым флагом! Уму непостижимо! Причем если ее саму видел мало кто, преимущественно офицерский состав и несколько рядовых, тоже с высшим образованием, слава богу, то тряпка белая поразила всех, буквально всех! Двойная как бы такая — то ли юбка разорванная, то ли футбольные трусы. Но почему тогда белые — вот вопрос! Так вот, вы не поверите: кто за этими трусами бежал — все живы остались.

Рядом, в двух шагах буквально, — взрывы, стоны, смерть, — а я бегу себе как на сдаче норм ГТО. Насымбаев тогда в живых остался. Траугот, Фокин — практически все офицеры. В самый сегодняшний день это было, в день главного прорыва. Только не надо об этом писать — про белый флаг: нас с вами могут понять неправильно. Война, блокада — это святое... Но вы знаете, между прочим, я ее не только на ленинградском фронте наблюдал. Еще, помню, один раз ночью, перед наступлением, при разгроме Козло-Поповской группировки противника, пошел я в соседнее село. А дорога, надо сказать, шла через лес. Но это уже совсем другая история...



В канареечно-желтом махровом халате и рваных шлепанцах на босу ногу, шаркающей, но твердой походкой, в узкий коридор своей темной квартиры во втором этаже флигеля, сжатого между брандмауэрами достоевского района Северной нашей Пальмиры, вышла навстречу мне миниатюрная курносая женщина с небесно сияющими глазами и короткими волосами цвета соломы. В лице ее меня утешала знакомая и нестрашная решительность фронтовички, с каковой одинаково запросто можно живого человека и убить, и спасти. Привычно ощутив свою послевоенную неполноценность поколения тех, за кого сражались отцы, я щелкнул каблуками и отвесил даме краткий офицерский поклон.

Вель-ликолепно! — крикнула она в лицо мне, содрогая руку мою и все существо командирским рукопожатием. — Единственный настоящий стилист — как и я! Мировая повесть у тебя! Только три замечания по тексту. Три! Ах, как я мучилась с остальными, сколько пришлось переписать за них — страницами, буквально страницами кое за кого... Вель-ликолепно! Прошу!

Висевший в углу коридора молодой человек в позе лотоса продолжал спокойно играть на флейте. Вежливо он пропустил меня в комнату и, не отрывая уст от черной коротенькой флейточки, медленно вплыл вслед за мной и завис над столом, все не

размыкая свои лепестки-ноги и продолжая импровизировать на темы старинной классической музыки Китая.

— Это Петя! — крикнула она. — Сынок, кончай, спустись на землю грешную наконец! Познакомься хоть с человеком, ведь неудобно!

Даже не покачав головой, левитирующий Петя продолжал развивать мелодию в прежнем темпе.

Быстро и невнятно, страстно и категорично, осененная льющей с Петиных высот горней песнью древнекитайских эстетов, шпилькой проталкивая в трубу беломорины антеникотиновую вату, за огромным столом, заваленным рукописями коллективного сборника, редактором которого, к моему счастью, была, она с таким восторгом пересказывала мне маленькую мою сентиментальную повестушку о трех товарищах-горожанах, один из которых повесился в самом начале повествования, другой утопился, против чего, собственно, она и редактировала, благодетельница моя, желая мой первый шедевр для печати сохранить и спасти таким образом для благодарного народа нашего, и так, повторяю, меня хвалила, что промокал я глаза бумажной салфеткой, которой только что занял налитую мне ею водку, еле сдерживая непристойные звуки невольного своего же катарсиса. Наконец, смущенный по-восточному неумеренными похвалами, я вместе с товарищем по сборнику, истерзанным неуместной моею славой, с облегчением побежал в магазин за бутылкой “антигрустинчику”, как выразилась она, засовывая в карман мне, безденежному, достаточную по тем застойным ценам пятерку. Уязвленно храня независимость, коллега мой, впоследствии махровый правдолюбец, а затем крупный издатель, взял “фаустпатрон” белого крепкого вина, и мы провели ключевой для меня вечерок в солнечно-золотых с муаром лауреатских тонах, не прерывая ни на миг непринужденный в своей брутальности монолог писательницы-фронтовички о делах войны.

С тех пор я стал регулярно бывать в ее доме, бессовестно пользуясь незаслуженным, как понимал уже тогда, и до сих пор

для меня непостижимым вниманием щедрейшей Валентины Васильевны к скромному моему дару. Я узнавал все новые истории из ее фронтовой и писательской жизни, а также из опыта, как говорится, работы в народном суде: самой что ни на есть судьей ведь она была! И сама Валентина Васильевна, и ее сын, человек глубоко образованный, доброжелательный и мудрый, по темпераменту молчаливому и нежным склонностям души совершенный антипод своей матушки, вель-ликолепный знаток философии востока и даже запада, надолго стали моими учителями.

В последние месяцы своей жизни Валентина Васильевна задумала написать новую повесть — “Белый вальтер” — о событиях, не упомянутых в ее известных книгах. Начала делать наброски. Но, как на грех, сломала руку.

Боже! — не понимаю я сегодня, — зачем тебе нужно было так мучить человека перед смертью? Чему еще могли научить фронтовичку, писательницу, судью наконец, — новая боль и обида? Какие еще прозрения подарила усталой душе бедной Валентины Васильевны сломанная рука? Или не чувствуешь ты боли? Или только через страдания наши познаешь ты мудрость? Или, может быть, не известно еще нам, смертным, что есть она на самом-то деле, — боль? Уж не любовь ли Твоя, отчаявшись на крестном пути добра, язвит человека вновь и вновь, — как упрекающая жена, как дитя, от затурканной юной матери-одиночки требуя внимания, ласки и строгости не бабьей, иной, очень надежной, какую мог бы дать лишь отец? Однако не сам же ли Ты Отец наш, Господи? Не сам ли предпочитаешь свободу соблазнителя-алиментщика, откупаючись от голодающих своих чад крохами со стола безмерного бытия, знания и блаженства?

“Смирись, гордый человек!” — отвечает мне Федор Михайлович, сосед писательницы-фронтовички, утирая полой арестантского своего халата не слезы, но Родиона Раскольникова совестливый топор. Аргумент знакомый. Да и единственный, пожалуй,



когда большей половине человечества Ты руки выкручиваешь на залом и до сего дня.

Смиренно дожидаясь, когда рука заживет и можно будет продолжать работу, Валентина Васильевна рассказывала мне о том, написать о чем ей было уже не суждено. О друзьях своих сердечных фронтовых. О подругах, — не каждой из них удалось, как юной Вале, пройти сквозь войну незапятнанной. О никелированном миниатюрном трофейном пистолетике, из которого она, и вправду, застрелила, как написано в моей, и, получается, не моей повести, немецкого офицера и спасла боевых товарищей. Я слушал не перебивая, одновременно концентрацией воли, как научил меня милейший Петя, то придвигая ближе к кровати большой дубовый доисторический шкаф, по кличке “Гей, славяне!” — то отсылая его короткими энергичными пассажами правой руки обратно, в угол. Не обращая внимания на мои нелитературные успехи, она набивала ватой одну беломорину за другой и кашляла тяжелым матом.

Когда же я от нее узнал о расстреле несчастных окруженцев, — не генералом, правда, а маршалом, фамилию которого я здесь вынужден был изменить ровно на одну букву, ввиду сознательно допущенной в литературных целях неточности описания: маршал-то на самом деле убивал безоружных советских солдат и офицеров не из нагана, как у меня в повести, а из браунинга, каюсь, — при этом, вздрогнув, я невольно переспросил писательницу, верно ли расслышал фамилию прославленного военачальника, чьи фотографии в качестве иконы ангела-хранителя до сих пор котируются среди шоферов-дальнобойщиков наравне с портретами самого вождя народов. Она ответила мне длинной тирадой непечатного свойства, причем добавила, уже как бы из кресла народного судьи, — со скромным, но убедительным дубовым нимбом резного герба над головой: “Да у него же, у кровопийцы, обе руки в крови по локоть!”

Излишне описывать мое восхищение смелостью Валентины Васильевны, не побоявшейся назвать палачом известнейшего

мемуариста, чьи “Воспоминания” народ перелистывал тогда не прикасаясь, одним благоговейным дыханьем, чая отрыть за косяноязычием мученика, проливавшего всю жизнь чужую кровь, все ту же единую вековечную правду-матку, сокрытую еще боярами от доброго царя-батюшки.

И ведь не потому ли и была-то сломана Валентине Васильевне рука, когда Жуков узнал, что меткая пулеметчица решила наконец и письменно внести свой вклад, вписать, как говорится, правдивую строку в послужной маршальский список его многочисленных жертв, — задолго до объявленной его бывшими сослуживцами “гласности”... Правда, к тому часу, когда многострадальная Валентина Васильевна оступилась на крутой темной лестнице перед дверью собственной квартиры, маршал под своей гранитной плитой, заваленной патетическими розами и принципиальными гвоздиками, уже, должно быть, заспал, запомнил, как подобострастно чирикала на его процессуальных похоронах магическая флейта, древняя спутница психопропедевтических мистерий, повелительница прирученных демонов и дрессированных кобр, — “на манер снегиря”, — откликнулся из союзнической Америки насмешливый грядущий носитель Нобелевского венка. А уж о девчонке-то, в обморок к его прахорям, забрызганным кровью, упавшей чуть ли не сорок лет назад, он и не вспоминал, поди, ни разу на славном своем боевом пути. И все же никто не может доказать мне, что душа полководца, любившего людей ненасытимо, не мытарилась в тот день по стогам города-чистилища, ради спасения которого от немцев не жалел маршал советской дешевой кровушки. А значит, могла она и заглянуть ненароком на мрачную лестницу флигелька в одном из дворов-колодцев Разъезжей именно в тот миг, когда миниатюрное предплечье пожилой женщины, скользнув по желтым лакированным перилам, угодило как раз меж чутунными стеблями сквозного узора, и стоило только ветерком тронуть волосок у нее в ноздре, чтобы она чихнула обвалью, и...

Оставим, впрочем, так называемую “мистику” — ее и в повести хватает. Гораздо приличнее нам, как материалистам до мозга уцелевших, тьфу-тьфу, костей, да и вполне достаточно для завершения сюжета предположить трезво и медицински грамотно, что спасительный обморок перед несостоявшимся ее расстрелом, который милосердно послал Вале в мозг заряд тяжелого страха, стал одновременно и первым толчком к роковому для нее писательству, разбудив ее страстный талант. А поскольку скончалась она все-таки от традиционного для писателей инсульта, тем же самым первым ударом с руки маршала и подготовленного, не исключено, еще осенью сорок первого года на волейбольной площадке, то все же и выходит, как ни кинь, что имя Валентины Васильевны, пулеметчицы, писательницы и судьи, должно быть внесено в список жертв маршальского военно-полевого правосудия, — последним, верую, верую!

О чем я и молился маршалу и его теперешнему командиру, товарищу Богу, в тот миг, когда в светлом зале крематория скрипнула из-под пола, заставив поежиться профессиональных правдолюбцев и пророков из Союза Советских Социалистических Писателей, несмазанная адская машина и гроб с телом писательницы-фронтовички был отправлен на последнее задание — за линию всех фронтов разом.

И еще я тогда вспомнил, как на недавних похоронах пожилого поэта Валентина Васильевна, в заключение своей надгробной речи, очень смешно оговорилась: “Спи спокойно, дорогой Леонтий! Всего тебе доброго!..”

Низкий поклон Вам, вель-ликолепная Валентина Васильевна!

Всего вам доброго — там, где не убивают, не лгут и не предадут, где и нет ничего, кроме очищенного, двойной, как минимум, перегонки, девяностошестиградусного, самого что ни на есть Добра. Да?..



## Оглавление

В. Топоров.  
*Русский человек на rendez-vous со смертью.* ..... 5

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

В которой сам генерал Зуков, лапочка такая,  
представляет живую Муху к званию Героя  
Советского Союза — посмертно. .... 9

### ГЛАВА ВТОРАЯ

В которой Муха поражена детской привычкой  
советских офицеров теребить женскую грудь,  
а также их коварным стремлением целовать  
девушку непосредственно в губы. .... 23

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В которой Муха теперь Чайка, причем летает  
без крыльев и винта под личным командованием  
генерала Зукова. .... 57

### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В которой Муха назначена временно испол-  
нять обязанности Пресвятой Богородицы, но  
в результате вынуждена, к счастью, поблагодарить  
от души старинный дубовый диван. .... 83

## ГЛАВА ПЯТАЯ

В которой Дзус консерват омниа. .... 125

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

В которой товарищ Сталин воюет не выходя из кремлевской звезды, куда ему регулярно подвозят на лифте горячий суп, а Муха сражается в небе блокадного Ленинграда за Родину и Люсю, но вновь не может исполнить секретный приказ генерала Зукова. .... 171

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В которой за Муху молится сверчок, а Смерш-с-Портретом протягивает ноги к желанной невесте. .... 217

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

И – последняя. В которой Муха не умрет никогда. .... 237

P. S. .... 245

*Михаил Кононов*  
**ГОЛАЯ ПИОНЕРКА**

---

Лицензия ЛР 070054 от 16.08.96.  
Редактор С. Коровин. Художественный редактор А. Веселов. Верстка О. Леоновой. Корректоры Е. Дружинина, Е. Коваленко. Компьютерное обеспечение Е. Падалка.

Подписано в печать 29.12.2000. Формат 60 x 88 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Гарнитура Академическая. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16. Тираж 3000 экз. Зак. 2172. Издательство "Лимбус Пресс". 198005, Санкт-Петербург, Имайловский пр., 14. Тел. 112-6706. Отдел маркетинга: тел.: 164-4933, факс: 315-2081.

Тел./факс в Москве: (095) 291-9605. Отпечатано в АООТ «Типография "Правда"». 191119, Санкт-Петербург, Социалистическая ул., 14. Тел. 164-6830.